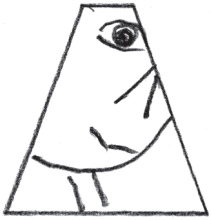
Марианна Гейде

Бальзамины выжидают



Москва
«Русский Гулливер»
2010

УДК 82-32
ББК 84(Рос-Рус)6
Г29

Серия «**Окна Русского Гулливера**»
основана в 2010 году
Руководитель проекта *Вадим Месяц*
Главный редактор серии *Олег Дарк*
Оформление серии *Катерина Довжук, Эрик Брегис*

Гейде, М. М.

Г29 Бальзамины выжидают : рассказы / Марианна Гейде. — М. : Русский Гулливер / Центр современной литературы, 2010. — 318 с. — (Окна Русского Гулливера).

ISBN 978-5-91627-053-2

Это «книга эксцессов». То есть чудес. Потому что эксцесс — это и есть чудо, только удивительным образом лишенное традиционной основы чудесного — Высшей воли. Ибо Бога, который не может быть засвидетельствован, естественно, не существует. (Впрочем, здесь тоже не все так просто, ибо автор, подобно Канту, по булгаковскому Воланду, отвергнув традиционные доказательства, выдвинул свое. Но мы с вами пока об этом ничего не знаем.) Итак, эксцесс — безосновное чудо — у которого и для которого нет оснований. Это не-вольное чудо, буквально. На которое нет Воли, а есть попустительство. Несколько шутовское попущение какой-то высшей инстанции, которая иногда допускает чудеса-эксцессы. Потому что ей самой, этой инстанции, так интереснее. Потому что она не существует, но может скучать, испытывать интерес, допускать чудеса-случайности-эксцессы, задавать загадки, а главное — смотреть и следить. Вот эта тема здесь одна из центральных — неизвестно чьего взгляда, подобного прицелу, и который испытывает человек в не меньшей степени, чем поедающая банан макака.

УДК 82-32
ББК 84(Рос-Рус)6

ISBN 978-5-91627-053-2

© Гейде М. М., 2010
© Уланов А., предисловие, 2010
© Дарк О., послесловие, 2010
© Русский Гулливер, 2010
© Центр современной литературы, 2010
© Кузнецов П., фотография, 2010
© Довжук К., Брегис Э., оформление, 2010

Полынь и ваниль

В этих текстах — пряность и горечь. Сила ощущений — от ярости до яркости. Мир, встречаемый телом, осязанием. Гейде часто говорит о боковой линии — органе рыб, который позволяет чувствовать колебания воды вокруг. А мир чаще ударяет, чем гладит (хотя не жесток — всего лишь безразличен, как кошка, съедающая хомячка просто потому, что ест мелких грызунов). Но «лезвие, входящее в плоть, бессильно разорвать её поверхность, оно лишь вызывает к жизни новые поверхности, до времени сокрытые в её толще. Так они раскрываются, разворачиваются, выпрастываются, словно лепестки, так тело, охваченное цветением, преображается, изумлённое тем, чем, не ведая того, было богато». Человек — рана. И другой человек, другой предмет встречается как боль. Как рана, открытая ране. «Чёрные, точно обожжённые зажигалкой и пепелящиеся по краям розы, небесная стружка, их шипы пропитаны галлюциногеном, от которого кровь разворачивается, оборачивается жидким стеклом, на секунду застывая, чтобы надорвать аорту». Гибель раскрывает и обнажает. Древесина сломанного дерева — «точно мясо некоей большой птицы». Боль и отверженность дают понимание.

Рядом с пустотой, от которой не избавиться и которую не заполнить. Рядом со смертью, которая

неопровержима — и не лжет, как фальшивый коньяк или голоса, говорящие о сплющивании вещей. Смерть — плод, вызревающий в человеке (об этом говорил еще Рильке). Кости зреют «как ядро миндаля под жесткой горькой кожурой». И такой плод может стать игрушкой — но и продолжением другой жизни. Гейде примеряет новые и новые образы мертвых — то они смеются над ничтожностью того, что так боятся живые, смертью, — то их надо обучать всему, как детей. «Мёртвые требуют от живых бесконечного терпения: им всё нужно разжёвывать по несколько раз».

В присутствии Бога — когда человек осознает, что он даже не орудие в Его руке, а случайно подвернувшийся Ему предмет. Встреча с Богом тоже у всего человека, у тела, не только души. Чтобы Дух увидел человека изнутри, надо проглотить солоноватое глазное яблоко Святой Лючии. И Библия — постоянная данность, живая, и потому допускающая свободу толкования и продолжения. «Господь нагнал на человека сон, и когда тот уснул, вынул ему ребро и создал из него ещё одного человека, не мужчину, а женщину. Однако первый человек до конца не пробудился ото сна и другого человека видел словно бы сквозь дымку или марево» — так и смотрит мужчина на женщину по сей день. А заплывший в море так, что не видно берега, вспоминает взгляд Бога на воду во дни творения, когда еще не было суши.

Граница между такой прозой и стихотворением почти стерта. Потому что стих — не ритм и рифма, а концентрация и многозначность. Взгляд, не желающий растекаться в роман. Лучше — всматриваться, вживаться в деталь, в подробность. Пока она сама не покажет

свою жизнь. Потому что прилив — расширение океана от его воспоминаний. Гейде — «на стороне предметов», как Франсис Понж. Или Андрей Левкин.

Незачем говорить больше, чем нужно. Если в каком-то случае важно только то, что действующих лиц двое, зачем давать им имена? Хватит — как обозначение различия двух точек в геометрии, В и В штрих. Персонажи — да и люди — вообще зыбки и непрочны. «Все её усилия были целенаправленно устремлены к тому, чтобы не рассыпаться на части, так что на всё остальное уже не оставалось почти ничего». После Борхеса и концептуализма мы понимаем, что во многих случаях достаточно привести схему события, не пытаясь обрастить ее искусственными подробностями, обмануть себя и читателя дешевыми уловками правдоподобия. Не-ассоциативное повествование исчерпано. Если действие только названо, оно не объяснено. Что происходит? Кто-то пытается сказать: «поцелуй», «семинар». Но происходящее отрицает обозначение, показывая, насколько далеко конкретное событие отстоит от своего абстрактного наименования.

Идти к этому событию, предмету, человеку — подбирая слова, которые касаются его, обрисовывают его в его многосторонности и многосвязности. Рефлексия и точность. «Возможно, смерть — та же соль. Нет, не та. Вот эта». Если такая проза не будет умной, ее вообще не будет. Лишить эти тексты рефлексии, «поглупеть», как советуют Гейде критики вроде Д. Бака, означало бы уничтожить их. Прòклятый поэт Гейде не теряет отчетливости взгляда ни при каких боли или отвращении. Собственно, и Шарль Кро был инженером — но ни он,

ни Тристан Корбьер, ни Морис Роллина не были философами, а за Гейде — аппарат современной философии. Которая, кстати, считает одной из своих задач — представление возможных миров.

Идти куда-то — хотя бы только потому, что сапоги оказались дружелюбными, в отличие от пуговицы, которая врет. И встреченные сирены — то ли «настоящие» биологические (ламантины), то ли «настоящие» мифологические (завлекавшие мореходов), но какие из них вообще настоящие? И стоит ли придавать этой «настоящести» слишком большое значение? Как и Борхес, Гейде любит мир средневековых бестиариев, где пеликан завивает кудри богородицы. Мир легенд. Люди, съедающие осьминогов, слепнут, но узнают предметы на ощупь. Причем Гейде всегда помнит другую сторону легенды, вторую мышь из притчи, что умерла и испортила масло, которое сбила спасшаяся из молока первая мышь. Помнит, что счастливый конец сказки — лишь случай, и поэтому сочиняет серию сказок-неудач.

Существование — напряжение и тяжесть. Автор — на грани множества опасностей. Риск растворения в путевой прозе, в Живом Журнале. Риск снисхождения к нормальному взгляду. Риск утонуть в описании физиологии насекомоядного растения или рыб экзотариума зоопарка. Риск пересказа очевидного не преобразованного опыта, уклонения в стандарт детских переживаний. Риск растворения в мире, потери индивидуальности, превращения лица в ненужную маску. «Там, в сумерках, когда под мостом пузырится и пузырится, и мы под мостами превращаемся в пену морскую, нетвёрдую, лживую всеми цветами, кровавящуюся

пену. Там, под мостом сглотнёт нас, не опознав, древняя кистепёрая рыба». Риск уравнения экстремального с обычным. Соблазн ухода от боли в мир без событий, в место, где человек считается несуществующим. Риск раздвоения. «В одном сне А. привиделось, что её тело это две переплетённые змеи. Вот они разъединились и поползли, каждая в свою сторону. Вместо одной А. стало две змеи. Ни одна из них не была А. в собственном смысле, да и не было у А. никакого такого собственного смысла, а у любой из двух змей, образовавшихся на её месте, он был. Так она ползла в разные стороны и ползла, пока не проснулась». Трудно избегнуть всего этого и многого другого — но тем ценнее момент, когда все же удается.

Многие финалы Гейде ироничны. «Так, как оно, положено держаться только смертным или бессмертным», — любому, значит? Главное — любовь к перемене. «Мы назовём вещи чужими именами. Мы встанем и скажем: вещи, не называйтесь впредь своими именами, вот вам другие имена. Пусть они вовсе вам не соответствуют, однако же могут придать вам если не веса, то хоть какого-нибудь достоинства. Если и не в наших глазах, то в чьих-нибудь других. Если вдруг другие придут, то, по меньшей мере, им будет приятно видеть знакомые слова, надписанные на незнакомых вещах». Незавершенность и неокончательность. Путь и рост продолжаются.

Александр Уланов

Бальзамины выжидают

I

Мышь говорит старухе

Мышь говорит старухе:

— Когда твоя плоть истлеет, когда стечёт в почву гроздьями зловонных мыльных пузырей, опасных для моего маленького нутра, когда перебродит отравленным соком, когда волокна тканей её расплетутся и смотаются в аккуратные клубки, я возьму твои тонкие звонкие кости, пустотелые, весёлые, как свирели, я стану играть в твои тонкие звонкие кости, как ветер, перебирающий колокольчики над порогом.

Твои тонкие, чистые, девичьи кости сойдут за украшение, сойдут за подношение, сойдут за приманку. Внутри тебя они вызревают, как ядро миндаля под жёсткой горькой кожурой. Там, внутри, сокрыта красота от кражи или порчи.

Звонкие, пустотелые, весёлые, станут кости твои чашей, венцом, ожерельем, крохотными застёжками для чьих праздничных одежд?

Сидит старуха как плод, выставленный на солнце, которое умягчит его, усладит его, так, что, стоит пальцами раздвинуть половины плода, и мякоть сама распадётся надвое и выпадут кости, чистые, лёгкие, сладкие как миндаль, которых мы ждём, на которые вострим глаза, которые являются предметом нашего предпочтения.

Смотрит старуха глазами, точно молоком убелёнными, не слышит. Мыши и рады, и шмыгают.

Маленькая ветхая девочка бредёт через пашню

Маленькая ветхая девочка бредёт через пашню. Правый её глаз из пуговицы в две дырки, зато левый в целых четыре. Если её натянуть на руку, то окажется, что внутри она вся пустая, выстланная мелкою водорослью, плачущая желтою слизью. Можно двигать в ней пальцами, и она будет как живая. Но всё, на что она способна, это несколько примитивных движений. Маленькая ветхая девочка бредёт через пашню. За ней тянется маленькая ветхая ниточка. Левый её глаз проколот в четырёх местах, зато у правого острее зрение. Если её натянуть на руку, то согреешься в промозглую фригийскую зиму. Но всё, на что она способна, это несколько примитивных движений.

Две карлицы

Две карлицы, две крали на исходе дня прокрались в мой дом. То ли две сестрицы, то ли мать с дочерью, не разобрать. Их лица, вылепленные из жёваного серого хлеба, не имели возраста. Их впалые лица были как два зеркальца в виде чаш. Как два ласточкиных гнезда, свитые из рыб. Они задирали свои юбки из жухлого шёлка, они дрыгали скользкими жилистыми ляжками, они пугали меня своими гладкими лобками, проколотыми и изукрашенными дешёвыми цацками. Они шарились по комнатам в поисках чего бы украсть. Они хватали мои руки и вкладывали в мои ладони свои чахлые серые груди, мягкие, как мешочки с гречневой шелухой. Речь их была густа и комкаста, и нельзя было разобрать ни слова. То одна из них затягивала песню, а то другая хватала меня за лицо. Две карлицы, две лисицы пробрались в мой дом. И хотя любая из них доставала мне едва до пояса, но если бы они схватили меня, одна за правую руку, другая за левую, но если бы они вцепились в меня своими звериными гнутыми коготками, но если бы они потянули меня одна в свою сторону, другая в свою, то, клянусь собакой, они разорвали бы меня, как письмо, пополам.

Пеликан

Розоватый пеликан, закинув голову на спину, окунает клюв в перьевой футляр своих сложенных крыльев, точно длинные тонкие щипцы провинциального цирюльника, и засыпает.

Раньше, бывало, длинными тонкими щипцами своими касался он кудрей Богородицы, завивал их в медные толстые кольца, нагрев на камне под полуденным солнцем. Толстыми учёными змеями лежали они на висках, сторожили дрожащую жилку, чтобы не убежала.

Богородица умерла. И все дети Богородицы давно умерли. Пеликаны сидят у воды, праздные, без работы, упрятав тонкие клювы в футляры. Сердца их, целые, не расклёванные, бьются ровно и мерно под пуховыми кашне.

Печальное вьючное животное

Печальное вьючное животное, преисполненное жреческого достоинства, несёт, не роняя, на изогнутой шее ковчежец, волшебное подношение. Ковчежец, целиком сработанный из кости, обшитый мягкою кожей, украшенный нежными, хорошо отшлифованными глазами цвета вишнёвой смолы. Такой смолою плачет дерево, уязвлённое стальным лезвием. Такую смолу жуют в жару, чтобы спастись от жажды. Печальное вьючное животное мерно перебирает мягкими замшевыми губами будто бы шарики чёток, за двумя рядами его жёлтых зубов, обтёсанных неряшливо, как орудия древних людей, свернулся и дремлет сторожевою змеёй вялый чёрный язык. Время от времени оно сплёвывает. Печальное животное, кому несёт оно свою голову, как торжественное подношение? Где сложит свой ковчежец, как священное подношение? Так, как оно, положено держаться только смертным или бессмертным.

У Святой Лючии две пары глаз

У Святой Лючии две пары глаз — те, которыми она глядит сквозь помеху вещей, и вторые, какими обносит собрание, точно угощает цветными леденцами. Святая Лючия машина, как и остальные, но машина зачарованная. Они подходят по одному или двое, осторожно берут с блюда глазное яблоко двумя пальцами, яблоко скользкое и тугое, взгляд, лишённый оправы, кажется ни на что не направленным. На вкус оно солоноватое и студенистое, как устрица, но лишено запаха. На блюде тотчас появляется другое. Теперь Дух может видеть тебя изнутри, как бы при помощи божественной эндоскопии. Святая Лючия машина, как и остальные, но машина бессмертная. Её глаза не иссякают. Такова сила убеждения.

Гранат

Смуглая, скруглённая, лопнула скула граната. Кожа его, сожжённая до красноты, разошлась ужасающим шрамом до самого подбородка, так что стали видны прикрытые белёсыми плёнками зубы — крохотные, утопленные в воспалённой пульпе, во много рядов, бессильные ухватить кого бы то ни было. Птицы, слетевшиеся на это зрелище, расклёвывают щёку граната, щиплют её своими маленькими клювами, так что она кровоточит и раскрывается ещё сильней, раскачивают плод величиной с голову новорожденного, как мячик. Потом налетает ветер, сдувает птиц. Лопнувший плод граната висит на ветке и скалится, отрубленная голова, вывешенная для устрашения неприятеля.

Глаз лошади

Осу прельщает блеск лошадиного глаза. Огромный и выпуклый, каждые несколько секунд увлажняемый хлопком огромного мягкого века, он служит для неё неотвратимой приманкой. Оса запускает свой хоботок в розоватую мякоть слёзной железы и втягивает в себя солоноватую жидкость, веко лошади судорожно дёргается, но оса слишком велика, чтобы быть раздавленной и стечь по скользкому желобку вместе со слезами, лошадь яростно дёргает головой, но оса слишком легка, чтобы её стряхнуть, она продолжает питаться слёзной влагой, которая от её усилий только прибывает, привлечённые запахом, слетаются другие осы, они облепляют лошадиный глаз со всех сторон, так что он становится мохнатым от шевелящихся прозрачных крыл. Ослеплённая лошадь мотает головой из стороны в сторону, веки её распухли и отказываются ей служить. Чем больше осы уязвляют её глаза, тем больше их воспаляют, скоро уже не слёзы, а сама глазная жидкость начинает стекать по желобам, лошадь в исступлении катается по земле, колотит головой по траве, чаши её глаз постепенно опорожняются, в них темно от ос. Так длится это пиршество, пока осы не добираются до дна. Тогда мелкокрылый рой их отлетает. Пустые глазницы лошади глядят, не моргая, как две прорехи.

Маленькая макака

Маленькая макака сидит на дереве. Фиолетовые пальчики, тонкие, скрюченные, как у старушки, что с годами съёживалась-съёживалась и, в конце концов, вместо того чтобы умереть, превратилась в обезьянку, не оставив после себя даже трупа, осторожно разламывают плод. Она движется всегда чуть-чуть быстрей, чем прицел невидимой винтовки, следящей за ней. Маленькая макака всасывается в мякоть плода, полностью поглощённая процессом питания, чёрная чуть вытянутая мордочка делается мокрой от стекающего сока. Сейчас, когда в прицел никто не смотрит, они случайным образом совпадают.

Рахиль

Спустя четырнадцать лет Иаков глядит на Рахиль. Груди её увяли и обвисли, взгляд потускнел, лёгкий пушок над верхней губой сгустился в отчётливые усы. Как тогда, его снова обманули: в первый раз подсунули вместо младшей сестры старшую, теперь же вместо прежней, его Рахили, другую Рахиль. Но той Рахили уже не заслужить, её больше нет, её умыкнули, на её месте вновь оказалась её другая, потайная старшая сестра. Иаков некоторое время стоит, замерев в раздумье, потом резко поворачивается и уходит прочь, по дороге задевая локтем идолов. Идолы падают, но не разбиваются, а остаются лежать на полу с ужасной ухмылкой.

Куст бересклета

Куст бересклета стоит голый, без листвы, украшенный лишь распахнутыми плотяными коробочками, из которых на тонких нитях свисают, покачиваясь, глазные яблоки величиной с горошину. Точно увидел вдруг нечто такое, от чего глаза вмиг повыскакивали у него из орбит.

Враги

Вот враг, ощерившись, идёт на врага, отравленный собственной слюной, сделавшейся горькой, как хина, однако вместо того, чтобы умерять жар, лишь раздувающей его. Из плевков такой слюны вырастают грибы, которые не станет есть ни одно животное, а человек, встретив, сшибает ударом ноги. Гнев ухаживается в телах врагов, как огонь в угольях, делает их во всём подобными друг другу, и как древние люди воображали, что огонь — живое существо, так и гнев, кажется, прорастает в мозгу и надпочечниках врагов, как щупальца одного спрута, что, играясь, сталкивает со стуком и треском свои деревянные куклы, пронизывает их красноватым мерцанием. От переполняющего их гнева враги становятся сперва красными и мерцающими, после чёрными и пустыми, наконец, обращаются в серебристо-белый пепел. Этим пеплом люди, не обуреваемые духом вражды, вымазывают себе лица и руки, дабы дух вражды удовлетворился этой малой жертвой и не тронул их.

Снег

Снег представляется роем мелкокрылых, мелконогих насекомых: лишённые чувствилищ; безвольные, несомые ветром и силой тяготения, они наделены единственной способностью наносить человеку или животному небольшие укусы, а затем тотчас гибнут, после смерти превращаясь в слезу. Если их много, а шерсть или одежда человека или животного скудна, то они могут зажалить до смерти. Кожа человека сперва краснеет, точно от радости или стыда, потом бледнеет, как будто бы от ужаса, затем синеет, расцветает диковинными подкожными цветами; онемев, она утрачивает способность сообщать человеку или животному об угрожающей ему опасности, уступив право голоса иным превращениям, уже не имеющим непосредственного отношения к этому конкретному человеку или животному; лишившись имени, человек или животное обращается в поле извечной битвы, о которой прежде ему доводилось слышать от других людей или читать в книгах. Исход этой битвы предрешён, отчего вся она приобретает характер театральной постановки, где цель действующих лиц состоит не в том, чтобы достичь личной победы, а в том, чтобы ни на полшага не отступить от предписанной им роли. Зрителей у них не бывает, только свидетели, очевидцы, а значит, в какой-то мере, и соучастники. Но чаще всего

такие вещи происходят без свидетелей, если только не почитать за таковых рой белых насекомых, каждое из которых в любой момент готово поступиться своей формой: для них умереть означает не более чем изменить агрегатное состояние. В сущности, это могло бы относиться и к человеку: ведь его имя — единственное, да и то чисто декоративное препятствие, стоящее между ним и пустотой. Он хватается за своё имя, непрестанно его повторяет, чтобы не позабыть, выставляет его как смехотворный щит или ритуальную маску, вплоть до того момента, когда вдруг отбрасывает его, как сделавшийся ненужным и бессмысленным предмет культа, у которого не осталось адептов.

Черепаха

Кроткая черепаха, старушка, сморщившаяся ещё до своего рождения, маленькая пленница, заключённая в объятья собственного скелета — как осторожно выпрастывает она свою чешуйчатую голову, оснащённую крепким клювом, как ручки-грабельки её рыхлят песок, когда она выползает погреться на солнышко, украдкой, как всё, что она делает, точно жизнь её принадлежит какому-то другому, всемогущественному существу, что смотрит сквозь пальцы на её возмутительный проступок, позволяя по крошке отделять и медленно разжёвывать тягучее время. Тот, кому принадлежит время, тот, кто создал его и оставил без присмотра, тот, для кого любой наш проступок не составляет тайны, так что вкрадчивые повадки черепахи служат, скорее, для соблюдения приличия, чем для того, чтобы ввести кого-либо в заблуждение, — тот, кто не человек, и не зверь, и не время, и ни одна из известных форм жизни, давно перестал существовать, черепаха об этом осведомлена не хуже других, но ей приятно исполнять свой неуклюжий танец даже теперь, потому что она привыкла к нему, ставшему её другим, праздничным скелетом. Он хранит её хуже, чем первый, хищной птице ничего не стоит ухватить черепаху своим клювом-крюком, поднять её на невообразимую для черепахи высоту, от которой в её

головке, втянутой внутрь панциря, полопаются сосуды, и, швырнув о скалы, расколоть панцирь, и тогда черепаха превратится в прекрасное блюдо, приготовленное в костяном горшочке. Также и человек, изловив черепаху, положит её в огонь, тогда жилы её полопаются, раскалённый панцирь, разогнувшись, станет плоским, как зеркало, человек положит тушку черепахи на её собственный панцирь, как на щит. Тогда беззащитная черепаха составит его трапезу. Где теперь её маленькая жизнь, если не перетекла в жилы человека, не стала частью его тела, не питает его и не служит к тому, чтобы поддерживать работу его членов? Или, быть может, она возвращается туда, где хранятся изначальные запасы времени, которое, побыв черепашьим, вновь стало ничьим и им теперь может воспользоваться какая-нибудь другая черепаха? Если черепаха начнёт думать об этом, её маленькая голова лопнет от натуги, поэтому она просто вылезла погреться на солнышке и щурит узкий зрачок, что придаёт ей необычайно сведущий и проницательный вид.

О смехе богов

— Или вы не знаете легенду о нашем с вами происхождении? В начале, говорят, были боги, они не были богами в полном смысле этого слова, то есть ни бессмертием, ни всемогуществом не обладали, но могли существовать неопределённо долго. И однажды они создали человека по своему образу и подобию, святое писание отражает этот момент, когда в нём говорится: «вначале сотворил боги небо и землю». Творение из глины обозначает, что тварь способна принять ту форму, которую одну только и знает, поэтому всякий человек принимал форму того божества, которое считал своим хозяином. В часы (или, лучше сказать, века, ибо речь, всё-таки, идёт о богах) праздности боги собирались в круг и усаживались, заставляя своих кукол изображать различные сценки для собственного развлечения, сами же оставались безучастными к происходящему, не испытывая ничего, кроме лёгкого любопытства, в то время как их создания воображали, что их поведение может быть богам угодно или неугодно, или что они способны испытывать к ним любовь или ненависть, или даже что какие-либо из них служат объектом преимущественного интереса с божественной стороны, в этих точках повествования боги обыкновенно смеялись, но смех этот был беззвучным и лишь отдельными, особо тонко выделанными

человеческими особями воспринимался как некие лёгкие вибрации, они называли это «вдохновением», «экстазом» и признавали за этим явлением божественное происхождение, в чём не заблуждались, однако не умели правильно трактовать это явление, что служило причиной целого ряда комических недоразумений. После боги то ли умерли, то ли превратились в камни, то ли впали в анабиоз — никто в точности об этом не знает, только смеха их давно уже никто не слышит. Однако человек — существо зависимое и по сути своей марионеточное — сохранил воспоминание о смехе богов, он тоскует по нему, по его пугающей щекотке, особенно в такие дни, когда светит полная луна или когда она поворачивается к людям своей тёмной стороной и её не видно.

Лезвие

Лезвие, входящее в плоть, бессильно разорвать её поверхность, оно лишь вызывает к жизни новые поверхности, до времени сокрытые в её толще. Так они раскрываются, разворачиваются, выпрастываются, словно лепестки, так тело, охваченное цветением, преображается, изумлённое тем, чем, не ведая того, было богато. Как оно выгибается, точно вишня, тяготящаяся своей невесомой благоуханной ношей, как силится развязать узлы ветвей своих, чтобы освободить припрятанную в нём память об ином, прежнем существовании. Так фигурка, скрученная из тряпицы, гордится своей формой, воображая, что она и есть её подлинная сущность, явленная ей самой, но откуда ей знать, в память о каком событии был завязан этот нелепый узелок? Если дёрнуть за один конец, если потянуть, если расправить и разгладить эту ткань, то в ней самой не будет содержаться ни намёка на самонадеянность куклы. Ткани её пропитаны страхом и сделались жёсткими, как бумага, но он выпаривается без остатка в тот момент, когда иссякает надежда. Вот он, мелким потом высыпавший на коже, его можно аккуратно подобрать языком; соприкоснувшись с воздухом, он делается безвреден. Что теперь такое тело животного или человека? Оно легко исторгло из себя память о том, как было телом животного или человека, и какого

животного, и какого человека, теперь оно может цвести, как всякая вещь, вступившая в пору цветенья. Теперь оно вспыхнуло и вот пляшет, как язык пламени на ветру, то вздымаясь, то опадая, всё безобразное, что было в нём, расправилось, сгладилось, всё оно теперь — воплощение того совершенства, о котором грезило, пребывая во сне формы.

Дети хоронят жужелицу

Нежное и торжественное шествие. Гроб — коробок, лепесток цветка — погребальный покров. В гробу лежит жужелица. Мы не видим её лица. Наша печаль сладка. Мы обнаружили жужелицу на ступеньках крыльца. У неё нет ни матери, ни отца. Покрышки её хрупнули, газовые крылышки выпрастываются из-под них, как смятые нижние юбки. Печаль наша легка, не тяжелей спичечного коробка, несущего её насекомое тело. Здесь, в ямке под яблоней, в которую мы прошепчем секретное слово, тайное желание, и присыплем его землёй. Здесь, под яблоней, зарыто много таких желаний. Иногда некоторые из них сбываются. Вряд ли здесь можно усмотреть какую-либо связь или закономерность.

Сом

Сом, запутавшийся в травах на мелководье. Не трудно, изловчившись, поймать его руками. Скользкий, склизкий, он бьётся в моих ладонях, всем своим телом являя негодование. Вдруг он выскальзывает, и я вновь шарю руками, путаясь в мокрых травах, пока не ухватываю его прямо под жабры. По тяжести он сравним с семилетним ребёнком, удары его хвоста не болезненны, однако ощутимы. Вот я поймал его и прижимаю к своей груди, слышу удары холодного рыбьего сердца. Рыба то расширяет, то сжимает жабры, её рот раскрывается, принимая форму буквы «О», о которой нам, по правде говоря, мало что известно. Тщетны их трепыхания. Сом не умирает, но засыпает. Страх, которым пронизано его тело, сделает волокна его тканей чуть более жёсткими, печень его расширится и сделается более приятной на вкус. В какой-то момент, быть может, в тот самый, когда закатятся глаза сома, я чётко различаю в своём сознании его имя. Кажется, оно совпадает с моим собственным. Я не думаю больше об этом, иначе у меня отвалится голова. Я беру сома и несу его в дом. Там моя мать как следует его зажарит.

Сколько душ у сороконожки?

Сколько душ у сороконожки? Или ни одной, или, по меньшей мере, по одной на каждую пару ног. Первая пара — её рот, жадный до всего живого, последующие же — сёстры-приживалки, весталки, не обученные никакому ремеслу, кроме как прислушиваться к чаяньям и ярости первых двух. Сколько душ у сороконожки? Если поглядеть, как она, целая, расправляется с целой змеёй, то можно обмануться, можно прийти в смущение, можно отдать должное этому вёрткому, хорошо сочленённому тельцу, можно признать её достойной занять своё место в пантеоне разумных нововведений. Но если выбрать момент, если подкрасться, если притаиться, то можно услышать ропот завистливых и угнетённых сестёр, когда старшая пара уснула, можно в её ладно подогнанных сочленениях такой плач услышать, что и камни произведут сыр.

Во влажной земле отверженных

Во влажной земле отверженных. Там их хоронят. Близнецов, двухголовых, трёхногих, двуснастных и вовсе бесполых, двутелых, и тех, у кого под лопатками находят зачатки крыльев, и тех, у кого одна половина лица вечно смеётся, а другая плачет, всякую игру природы, принимаемую за знак божественного неудовольствия. Земля эта жирна и так мокра, что, наступив, рискуешь промахнуться мимо собственного следа. Их погружают в почву вниз головами, без погребальных уборов, только зажимают в шестипалой ладони глиняный черепок: там, в мягком дымном свете адского мира, говорят, тоже требуют некоторую плату за вход, как в вагоне самого распоследнего класса, без поручней, где так качает, что устоять можно лишь опираясь на соседа, такое же ошибочное существо. Во влажной земле отверженных тела не разлагаются, а обращаются в мыло, и в этом также видят признак божественного неудовольствия: даже такая земля отказывается их принимать. Как бедные сардинки, принуждены они веками зависать во влажной земле отверженных, точно в масле; тот, кто решится съесть какую-нибудь их часть, говорят, обретает способность понимать голоса насекомых, змей, сколопендр, людей с пёсьими головами, голландцев и черепах. Правда, всякий, кто с ними заговорит, рискует сам угодить

во влажную землю отверженных, во всяком случае, заупокойной службы по нему служить не станут и почётное право передать свою нижнюю челюсть безутешной вдове также для него закрыто. Говорят, что можно оживить такой мыльный выкидыш при помощи особенного механизма, он сможет двигаться, разговаривать и размножаться делением, как шарик пчелиного воска, если его разделить пальцами. Некогда дьявол или его временно исполняющий обязанности слепил себе целое потешное войско, и так на свет произошли цикады. А может быть, цикады произошли совсем по другой причине. Как бы то ни было, влажная земля отверженных — отличное снадобье, помогающее от змеиных укусов, ночных кошмаров, а так же тех, что снятся в полдень и всегда исполняются ровно через три года, от болезней, поражающих все органы, расположенные с левой стороны, и тех, что передаются через взгляд или плевок, в особенности женский или детский. Поэтому, в общем и целом, ужас, внушаемый уродцами, содержит в себе некоторую долю приятности.

Голова хвоста

У представителей одного из боковых ветвей рода человеческого, произошедшего от скрещивания человека и определённого отряда Сынов Неба, имеется хвост. Длинный и гибкий, лишённый волосяного покрова, он заканчивается маленькой змеиной головкой, снабжённой ядовитыми зубами. С самых малых лет ребёнка обучают владеть хвостом и управлять его волей: мозг хвостовой головы крошечный, как у змеи, зато обладает стремительной реакцией, так что большая часть потомства гибнет в смертоносной схватке, не успев научиться внятно излагать свои мысли. Хотя голова хвоста имеет определённую автономию, всё же у его обладателя сохраняется ощущение, что он воспринимает мир одновременно из двух точек: из своей собственной головы, закреплённой на шее и имеющей ограниченную способность поворачиваться справа налево и сверху вниз, и из головы хвоста, которая свободно поворачивается во все стороны при помощи подвижного, гнущегося во все стороны хвоста. Способностью к речи, однако, она не обладает, и может лишь выражать чувство неудовольствия (тогда она шипит и дёргается из стороны в сторону), удовольствия (тогда она сворачивает хвост в кольцо и жмурится), подозрительности (тогда хвост напрягается и выгибается дугой) и другие нехитрые

эмоции. Несмотря на это, человек и его хвост всё-таки являются единым организмом. Между человеком и его хвостом не всегда царят мир и согласие: так, люди могут симпатизировать друг другу, а их хвосты находиться в жестокой вражде, или наоборот. Иной раз, если человек недостаточно овладел искусством управления хвостом, тот может восстать против владельца, однако случаев, чтобы хвост укусил человека, не наблюдается: своими крохотными змеиными мозгами он всё-таки понимает, что умертвив хозяина, он и сам погибнет, поскольку они являются одним живым существом. Хвост может резким движением в сторону сбить хозяина с ног, или путаться у него в ногах, мешая ходьбе, или постоянным шипением мешать ему спать, или кидаться на хвосты других людей, желая их укусить, — словом, создавать хозяину множество неприятностей. В других случаях между хвостом и его владельцем наблюдается что-то вроде привязанности, которая возникает у домашних животных и их хозяев. Хвост может на свой лад заботиться о человеке и выражать беспокойство, если тот чем-нибудь озабочен. О человеке гневном, вспыльчивом, не умеющим контролировать свои эмоциональные проявления, говорят: «он стал своим хвостом». О тех, кто имеет кроткий и незлобливый нрав (а таких немного) — «он точно бесхвостый». Однако всерьёз ни один человек никогда не пожелает лишиться хвоста. Если в результате несчастного случая хвост умирает, то его хоронят с такими почестями, которые подобали бы человеку, а сам человек погружается в скорбь, потому что больше не может считать себя полноценным. Даже если хвост совершит убийство, то человека изгоняют,

однако же не лишая при этом хвоста. Если убийство совершает сам человек, то он всегда норовит свалить вину на свой хвост: кто может сказать с уверенностью, родилась ли мысль об убийстве в его собственной голове или же это происки глупого хвоста? Считается, что потомки людей и Сынов Неба сами не способны к проявлению дурной воли. Справедливо ли это? Мы и этого не можем утверждать с уверенностью. Возможно, иные из них так дурны, что их собственный хвост добродетельней их самих.

Бальзамины выжидают

Устья бальзаминов истоптаны шмелями. Те же легко умещают свои мохнатые тельца-переносчики в их распахнутых зевах. Открахмаленный капкан из нежной ткани то ли захлопнется, то ли будет разорван в клочья, но это длится не долее секунды. Их галантерейная покорность граничит с полным безразличием. Это лишь видимость. Они выжидают. Вызревают их продолговатые плоды, пока не сделаются настолько высокомерны, что и не тронь их. Impatiens. От малейшего прикосновения моментально выстреливают сухой дробью. Ветер коснётся их, и серия крошечных фейерверков прокатывается по зарослям. Такова их расточительность. Но и в ней заложен хитроумный расчёт. С каждым годом площадь, которую они населяют, становится несколько больше. Медленно заполоняют собой лесное пространство, потряхивая тряпичными кошельками, которые, несмотря на кажущуюся хрупкость, выдерживают вес шмеля и иных лесных чудовищ.

Лягушка

Маленькая изловленная лягушка сперва пытается выбраться, просовывая свою скользкую мягкую голову, способную сплющиваться до почти плоского состояния, сквозь пальцы, сколь бы крепко вы их не сжимали. Наконец вы надёжно заперли её в непроницаемом коробке, сработанном из двух ладоней, как в темнице. Если теперь вы раскроете ладони, то лягушка останется сидеть в оцепенении, вперившись в пространство неподвижными зрачками, узкими и чёрными, как пуговичные щели, только по мерно раздувающимся бокам и горлу можно судить о том, что она жива. Она обращается в небольшое нательное украшение, выточенное из змеевика. Отпущенная на волю, ещё с минуту движется как бы в замедленной съёмке, но затем быстро обретает прежнюю подвижность.

Древесный гриб

Тут и там к коре дерева накрепко прирос древесный гриб. Поверхность его ноздревата и с серебристым отливом, как хорошо выделанная замша. Он может сойти за некоторый вынесенный за пределы тела дерева орган обоняния или осязания, хотя несоприроден древесине и являет собой некий застывший в материи эксцесс. От древесного гриба исходит сытный сырой запах, сближающий его со съедобными грибами. Кора дерева, медленно возносящая ввысь скопища древесных грибов, словно отметины, свидетельствующие о её земном происхождении, ближе к вершине делается почти гладкой, шелковистой, от неё отслаиваются тонкие листы, испещрённые нечитаемой арабской вязью, оставленной жуками-древоточцами, точно она книга или притворяется книгой.

Грибы имеют двойников

Грибы имеют двойников. Ядовитый гриб прикидывается съедобным, хорошо изученным и опробованным, для одному ему известных целей. Съедобный гриб, в свою очередь, прикидывается ядовитым для того, чтобы его не тронули. Природа вся как будто бы перемигивается нескончаемыми цепочками уподоблений, каждое из которых имеет своей целью либо причинить ущерб, либо избежать его. Имена, которые могли бы здесь быть в ходу, всегда имена родовые, не привязанные к ежесекундно разрушаемому и всякую минуту возрождаемому единичному индивиду: имя это, как грибница, скрыто глубоко под землёй и его протяжённость не сопоставима с крошечным эксцессом гриба.

Спрут

Гигантский спрут, восьмирукая чернильница. Два его сердца раздувают мехи жабр, чтобы прогонять тяжёлую воду сквозь складки и сборки гигантского мешка. Третье подобно человеческому. Глаза его устроены так, как у людей, но с козьими вертикальными зрачками, они способны различать лица других спрутов.

Иной раз на верёвках спускают амфору, чтобы поймать в неё спрута, но в другой раз, когда нужно извлечь из воды затонувший сосуд, то берут спрута, опускают на дно и, когда он отыщет её и заберётся внутрь, вытягивают амфору. Он любит селиться в узкогорлых предметах.

Спрут, как мы, от страха бледнеет и от гнева багровеет. Пищу на вкус ощущает руками, точно весь он — один ветвящийся язык. Вещи с его точки зрения делятся на горькие, сладкие, солёные, острые и умозрительные — т.е. те, которые никакого вкуса не имеют вовсе.

Скрываясь, спрут пишет по воде чёрным, а раненый, умирая, — голубым. Всякий человек, съевший осьминога, приобретает часть его свойств. Люди, которые живут близ южных морей и постоянно употребляют в пищу осьминогов, ослепнув, продолжают свободно

ориентироваться в пространстве, мгновенно узнавая предметы на ощупь. Те, чьё зрение сохранилось, способны различать предметы в темноте и источать слабое свечение, по которому их опознают другие люди, любящие осьминогов. Ночами в пригородах можно заметить странные очаги неонового света — это любители осьминогов собираются для молчаливых бесед.

Скорпион

Сладко также смотреть на скорпиона. Сей достойный представитель арахнид воздевает могучие шоколадные клешни полувоинственным-полужреческим жестом, одновременно изгибая хвост, весь из перетянутых в ниточку сочленений. Темнокожий, лоснящийся маслом и избытком собственного мужества атлет. Жало его изогнуто, и весь он точно живой приоткрытый свиток. На просвет скорпион полупрозрачен, на ощупь почти невесом. Умерев, становится сух, лёгок и почти не подвержен тлению. Только еле уловимый запах (сухой лист с примесью чего-то сладковатого) доказывает отсутствие в нём жизни.

Аксолотль

Слово «аксолотль» буквально переводится как «водяная игрушка». Это и понятно: аксолотль так же мало похож на серьёзное земноводное, как человек — на серьёзного примата. По аналогии его можно было бы назвать игрушкой воздушной. Когда настоящие люди случайно встречают человеческих аксолотлей, то не могут поверить, что эти существа одного с ними вида, способные самостоятельно дышать, целоваться, фотографировать, чистить овощи и заниматься кибернетикой. Обыкновенно взрослые особи не убивают человеческих аксолотлей, поскольку те напоминают им собственных детёнышей, но нередко оставляют их в качестве домашних питомцев. Жизнь пленного аксолотля не лишена приятности, они скоро привязываются к своим хозяевам, хотя и в мыслях не держат, что между ними возможно какое-либо родство, потому что если человеческий аксолотль напоминает взрослой особи о её детёнышах, то сама взрослая особь вовсе ни на что не похожа: она полностью покрыта чешуйками из ороговевшей кожи, не имеет ни волос, ни бровей, имеет шесть пар глаз по периметру головы и ещё три дополнительные под мышками, в подколенных впадинах и в паху, лишена пищеварительного тракта, свою скудную пищу перетирает в ладонях и ступнями ног, большинство основных жизненно важных функций,

включая размножение и смерть, вынесены за пределы тела отдельной особи, происходят в специально создаваемых для этого резервуарах и фактически не затрагивают их существования.

Хамелеон

Кожистые глаза, просверленные взглядом. Их дикие, нарисованные поверх чешуй, ухмылки. Зазубренные шероховатые горбы и устрашающе вздетые роговые выросты, одновременно вспарывающие пространство и сливающиеся с ним, липкие изогнутые языки. Хамелеон на ощупь шершав и напоминает камень, сгруппировавшийся перед прыжком. Именно это ощущение *подвижного камня,* то ли живого, прикидывающегося неживым — но не мёртвым, то есть не чем-то, прежде обладавшим и впоследствии лишившимся жизни, а именно неживым и никогда не жившим, то ли, напротив, живого, перенявшего повадки неживых, а вовсе не знаменитая способность менять цвета делает вид хамелеона таким чудовищным и одновременно завораживающим.

Цикламен

Цикламен отцветает на свой лад. Он не роняет лепестки — цельнокроенные, схваченные в середине фестончатым упругим кольцом, — а разом сбрасывает весь цветок, который, отринутый, валяется, как шёлковое нижнее бельё, в ожидании, что его потом когда-нибудь подберут, отдадут в стирку, высушат на вкусно пахнущем сквозном воздухе, после чего отутюжат и снова введут в обиход. Обыкновенно этого не происходит. Цветок с виду почти неношеный и свежий. Можно только подивиться доходящей до крайности щепетильности цикламена. Оставшиеся три цветка, ещё молодые, собраны в щепоть, точно собираются осенить себя троеперстным знамением, дабы почтить память собрата. Весь развернувшийся к стеклу, прилипший к нему своими сердцевидными тёмными листьями, цикламен игнорирует обитателей комнаты, от которых зависит, хватит ли жидкости, чтобы напитать его стебли, крепкие, имеющие под тонкой кожей клейкий безвкусный мармелад. Он целиком поглощён зрелищем внешнего света, или, вернее, поглощает его, перегоняя в чистейший густейший зелёный цвет. Ради этого свойства, а также способности производить и время от времени сбрасывать белые галантерейные принадлежности (странно даже вообразить себе форму существа, которому они пришлись бы впору), ему прощается его чисто вегетативное высокомерие и относительная краткость жизни.

Деревья, поваленные бурей

Деревья, поваленные бурей. Их кожура, слоящаяся, точно старая бумага, сквозная на просвет. Их розоватая, отдающая на вкус смолой древесина — точно мясо некоей большой птицы, давно вымершей и оставившей от себя лишь жалобный скрип. Полунагие сломленные сосны лежат на дороге, заламывая дюжину своих замысловато изогнутых рук. Кора их так нежна и податлива, как кожа змеи, и так же неохотно хранит следы человеческой ласки: её запах забивается в поры, не даёт продохнуть, отнимает имя и всё, что ему способствует.

Муравей размером с букву «Ж»

— Я только что придумал стихотворение. «Вот муравей, размером с букву *“Ж”*». *Гляди, такое впечатление, что он читает книгу, так долго по ней бегает.*

— Он её и читает. Только своим каким-то причудливым способом.

— Так и нужно читать Бейтсона.

Муравей, обнаруживший своё сходство с начертанием литеры, верно, был бы очень сильно изумлён, если только подобные чувства пристали муравьям. Возможно, он воспринял бы это как знак, да это ведь и был знак. Предназначен ли этот знак для него? Или, быть может, он ощутил бы священный ужас от предположения, что он сам, крохотное насекомое существо, спешащее по своим делам и наткнувшееся вдруг на кипу гладких, испещрённых неясными каракулями листов, отличных по своей структуре от привычных ему листьев растений, листов, в которых не течёт прозрачная вязкая жидкость и которые поэтому легче признать мёртвыми, — что он сам лишь прообраз одной из целого ряда чёрных закорючек, складываемых в те или иные группы сообразно неизвестному ему принципу? И тогда метание муравья по странице книги — не просто набор хаотичных движений, но стремление переписать повествование,

внести в него некоторое недоступное для него самого сообщение, которое в конечном итоге призвано засвидетельствовать его существование. Если бы бог или боги существовали или хотели бы говорить с человеком, возможно, их речь была бы столь же бессмысленной и причудливой. Но бог или боги имеют не больше охоты беседовать с людьми, чем муравей телеграфировать им при помощи движений и покоя своего крохотного тела. Есть, однако же, некая тайна в том факте, что его размер в точности совпадает с размером литеры, которой обозначается звук «Ж».

II

Человек и растение

Человек кормит растение фиолетовым корчащимся червем. Растение плотное, с вощёной гладкой кожицей, под ней крутое желе в прожилках. Оно разевает рот навстречу корму и с сухим щелчком захлопывается на все восемнадцать булавок.

Не говорит и не ходит. А когда бы говорило, то язык его был бы столь скуден, что своим видом оно бы могло рассказать больше и выразительней. Оно умеет жить и питаться. Оно право.

(Медузы своими двадцатью четырьмя глазами способны отделить тёмное от светлого, как если бы присутствовали при первом дне творения и застыли в нём навсегда).

Человек кормит растение червем, живое живым в гораздо большей степени, однако к живому в меньшей степени человек привязан, а к живому в большей степени

не привязан. Червь умеет отличить твердь земную от тверди небесной, как если бы присутствовал при втором дне творения и застыл в нём навсегда, предпочитает земную; половина червя остаётся жить, другая через какое-то время станет частью метаболизма растения, из одной жизни стало две, из двух жизней осталась одна, и нельзя сказать, были это две разные жизни или одна и та же, умноженная простым удвоением.

(Так и у медуз: часть жизни они живут, как полип, прикреплёнными к поверхности и бесполыми, а после, расслаиваясь, живут неприкреплёнными и двуполыми. После цикл возобновляется. Прозрачные мощные мускулы, непрестанно фильтрующие воды сокращениями двух своих шевелящихся юбок.)

Растение питается ртом и корнями. Корней у него немного. Там, откуда оно, почвы мало и она скудна. Лицо его всегда сохраняет одно и то же выражение: смесь жестокости, невозмутимости и беззащитности, свойственную всем физиономиям, от природы лишённым глаз.

(Тогда господь нагнал на человека сон, и когда тот уснул, вынул ему ребро и создал из него ещё одного человека, не мужчину, а женщину. Однако первый человек до конца не пробудился ото сна и другого человека видел словно бы сквозь дымку или марево, так подействовал на него божественный наркоз. Следы этой головокружительной операции сохранились у потомков первых людей вплоть до наших дней как некий первозданный морок.)

Ни одному животному, кроме человека, не было запрещено есть плодов от древа познания, поэтому многие их ели безнаказанно и не были отвергнуты богом. Человек кормит растение, потому что признаёт в нём высшее, гораздо более мудрое существо.

(Люди в свой срок рождаются на свет, но в этом племени раз в несколько поколений появляется одна какая-нибудь женщина, в чреве которой ребёнок развивается семь или восемь недель, а после прекращает рост. Их называют «вечно ожидающими», окружают большим почётом и наделяют магическими свойствами, в частности способностью совершенного знания, поскольку они сочетают в себе две жизни — человеческую и такую, которая замерла между человеческой и животной. Их сны записывают, не пытаясь истолковывать их. Рождение для них является не злом, но признаком вырождения: животное может выжить без других животных, а человек не может. Они с почтением прислушиваются к движениям этой, в сущности, раковой опухоли, которую ни за что не позволят удалить; умирают высохшими, пожелтевшими, полностью высосанными высшим и непостижимым для них существом, в страшных муках, но с блаженной улыбкой.)

Море

…Волосатые скользкие плиты на близком дне, серые округлые гальки, точно отложенные тучей каменных птиц. Вытащил из воды, и солнце мигом слизало с гранитного осколка всю привлекательность, остался камень как камень.

Только очень немногие люди, выйдя из воды, остаются красивыми. Верно, сама их кожа состоит из крошечных сот-ловушек, удерживающих воду, так она в них и остаётся жить и разговаривать. Когда они умирают, ловушечьи жвалы расслабляются, и вода, вольная, возвращается в небо, а после назад, в море, оставляя за собой тоненькую корочку соли, поэтому те люди не тлеют, лишь ссыхаются.

(Так хотелось думать. Вообще же думать хотелось не очень. Солнце что-то такое делает с человеческой головой, что несколько часов кряду можно жить как животному, притом не самому сообразительному. И весь берег, как противень, выложен плохо подошедшим сырым тестом их тел. Придёт, кажется, большая волна и слизнёт. Только песок на зубах хрустнет. Так хотелось думать.)

Дети вылавливали медуз и наблюдали их таянье. Сосредоточенно, точно маленькие учёные. Один придавил её камнем, другая жеманно тыкала пальчиком. Медуза

была засланцем небезопасного чужого мира, не умела говорить и смотреть, из неё не текла кровь. Сгусток солёной воды, вот что она была такое. Не человек и не зверь, а словно бы приобретшая плотность тень. Сжимается и разжимается, как некоторое отдельное, полупрозрачное, холодное не пойми чьё сердце. Потом подошёл взрослый и сковырнул его в воду палкой.

Зимой, подумал мальчик, море не замерзает, а превращается в студень. В рыбное заливное. Приходят люди, отрезают большими ножами и так питаются до самой весны. Летом съеденное опять отрастает, потому что зимой люди едят море, а летом море ест людей.

…В первый раз заплыл так, что не видно берега. И берегу его не видно. Огляделся: «такой, верно, видел бог землю, когда творил её. Никому не видной». Синий морщинящийся шар с жидкой кожей, укутанный тоненьким, в два пальца, небом. Тогда ещё ни рыб, ни организмов, ни трав, только вода, но какая вода? Та вода другая, живая, один глоток выпьешь и процветёшь, как пруд, заведутся в тебе малые земли. Один человек-левша ходил по городу, никогда не разжимая правый кулак, потому что был там маленький город с башнями, садами, горожанами и даже уличными собаками, никому никогда не подавал руки и прослыл угрюмым мизантропом, и под конец в приличные места его звать перестали, а в неприличных всегда была вероятность ввязаться в какую-нибудь историю. В море человек гол и невесом, море им играет, снизу поддерживает тупым полумягким носом, как мячик. Человек существо пустое, легче воды, и сама вода его тела слишком легковесна,

будто бедная родственница той, большой воды снизу и всё время за человечка просит. Из этой, нашей человеческой воды на небе получаются особые сизые облака, что на крылья похожи и всё время складываются в разные нелепые картинки. На них наблюдатель смотрит, когда устаёт наблюдать и хочет поразвлечься чем-нибудь несущественным. Вот для этого мы тут, не для чего-то, как нам мнилось, своего. А что он там наблюдает — бог весть.

…Н. пишет, что рядом океан. И что купаться в нём небезопасно — демоны заберут.

Океан их живой и густонаселённый. В шуме его явственно прослушиваются голоса. Какие-то сведенья, не потайные, выложенные на поверхность, но вовсе недоступные человеческому пониманию. Так могли бы говорить дельфины или ангелы, которым знать ничего не требуется, потому что всё знание дано им сразу и насовсем, поэтому они просто лепечут для собственного удовольствия, чтобы прощекотать горла. События? Не бывает у них никаких событий, не ждут они новостей, потому что ведь всё, что могло случиться, уже случилось, и даже то, что не могло случиться, случилось тоже. Но и старости тоже не бывает. Они как море, ходят в себе самих, там холодны и темны, там прозрачны и в брызгах. В ветреную погоду выскакивают в воздух стеклянными плетьми, и если зазеваться, то хлестнёт по лицу солёным и холодным: это демоны веселятся.

Ребёнок входил в воду, стоял, ждал: вот бы забрали. Подарили чешуйчатый хвост, с гребешком,

с концентрическими роговыми защёлками. Чтобы ни людей вокруг, ни происшествий. Подарили только лиловую шероховатую гусиную кожицу и небольшую «температурку».

(Нужно чем-то их улестить, умилостивить. Под вечер выбрался и тайно вылил в море чашку молока. Море восклубилось, а потом быстро облачко рассосало. Задумал: если каждый вечер его приручать, то оно, в конце концов, привыкнет и, может быть, будет натекать к самому дому, под окна, когтить ставни. Из этой затеи, однако, ничего не вышло — вероятно, море не очень любило молоко или добывало его из каких-то других, более надёжных источников.)

То, что у этой большой тяжёлой воды непременно была какая-то душа, не вызывало ни малейших сомнений. Она была живая и двигалась не потому, что нечто извне вынуждало её — она ведь не стекала сверху вниз, как водопад, у которого никакого о себе самом мнения быть, конечно, не могло, не стремилась ни к какой цели, как ручей, но двигалась сама по себе, по собственному желанию. Она была каким-то образом связана с луной, и это было очень странно, потому что на луне, говорят, тоже есть моря и океаны, однако пустые и явленные одним лишь рельефом. Возможно, море на землю явилось именно оттуда. Но сохранило память и от воспоминаний расширяется.

В Море Мечты нет никакой воды. И само это море — одна фантазия того, кто его так назвал (так он подумал, когда был уже несколько старше).

Записки из царства мертвых

Х. вернулся из царства мёртвых, куда пробрался мы вам не расскажем каким способом, скажем только, что он отправился туда для того, чтобы разыскать свою умершую сестру и выяснить у неё одну вещь, которую, пока она была жива, всё не удосуживался узнать, а кроме неё, об этом не знал ни один человек на земле. Ведь всякий человек на земле знает какую-нибудь одну такую вещь, которую, кроме него, никто не знает. Скажем сразу, что сестру он не нашёл. Наивные смертные полагают, что отыскать мёртвого в царстве мёртвых так же легко или, во всяком случае, так же тяжело, как живого на земле. Разумеется, не так же, но на несколько порядков сложнее: ведь если в царстве живых в настоящий момент присутствуют все те, кто сейчас жив, то в царстве мёртвых одновременно существуют все люди, когда либо жившие на земле, а так же и те, которые когда-либо будут жить, так что отыскать там кого-либо даже не так сложно, как иголку в стогу сена, а как соломинку в том же стогу. Х., однако же, удалось сделать ряд наблюдений, опровергающих некоторые предрассудки, имеющиеся у живых по поводу царства мёртвых.

Считается, например, что в царстве мёртвых нельзя смеяться. Это не совсем верно: смеяться в царстве

мёртвых не возбраняется, и поначалу, оказавшись там, только что умерший человек то и дело над чем-нибудь потешается. Сперва над самой идеей смерти (с непривычки эта процедура, столь переоцененная в мире живых, действительно кажется до того ничтожной, что не может не вызывать естественной усмешки). Потом над живыми, которые там, в мире живых, продолжают верить в это пугало и ему ужасаться. Потом над оставшимися мёртвыми и их укладом. Но, в конце концов, он привыкает к этому и всему остальному и больше уже не смеётся, а разве что изредка усмехнётся, и то чисто механически.

Далее, существует идущий от Гомера предрассудок, будто бы мёртвые суть некоторые бесплотные тени, лишённые памяти, истёртые до неразличённости, прозрачные, как ветошь. И это не совсем так: среди мёртвых встречаются и сильные, полнокровные особи, способные радоваться смерти от чистой души. Но, впрочем, таких немного. Дело, скорее, в том, что, обладая неограниченными возможностями путешествовать по своему прошлому взад и вперёд, задерживаясь в любом месте на сколь угодно долгий срок, мёртвые скоро теряют к нему интерес, исследовав его до мельчайших закоулочков, так что даже самые сладкие воспоминания не вызывают больше трепета, а самые жуткие — содрогания. Пресытившись собственной памятью, мёртвые вскоре совсем её оставляют и существуют просто как вещи, не имея ни воспоминаний, ни предвкушений, ни страданий — словом, ничего такого. Друг с другом они сообщаются редко — главным образом, потому, что, оставив свою память в покое, вполне в этом друг другу уподобляются

и, следовательно, ничего нового друг другу сообщить не могут. Некоторые из них, впрочем, группируются в аркады по принципу своеобразной симпатии, иные предпочитают существовать отстранённо, хотя вокруг постоянно присутствуют другие мёртвые, — но, как мы уже сообщили, слово «другие» применительно к ним является не совсем точным. Почти неподвижные, зависают они в мутно освещённом от неизвестного источника пространстве, лишь слегка покачиваясь сообразно своей привычке, и эти движения, никак не согласованные друг с другом, сливаются в особый *серый шум*. Он несколько подобен белому шуму, известному в мире живых, но, в отличие от него, ощущается как слабая вибрация, доступная осязанию, однако неразличимая для слуха. Открываются у мёртвых и некоторые особые органы чувств, коими живые почти никогда не обладают, но о них мы вам не можем сообщить ничего определённого, поскольку в языке живых нет для этого никаких подходящих слов и выражений.

Из всего сказанного выше уже можно понять, что мысль о какой-то особенной враждебности мёртвых по отношению к живым также является чисто житейской выдумкой, не имеющей ни малейшего отношения к действительности. Верней будет сказать, что мёртвые к живым попросту безразличны. Живой для них — что-то вроде заблудившегося отражения. Источник этого отражения (то есть он же самый, только уже мёртвый) от века присутствует в царстве мёртвых, хотя отыскать его там так же трудно, как любого другого, и случиться это может разве что в результате удивительного стечения

обстоятельств, — но и тогда мёртвый не проявит особого интереса к себе самому, ещё живому, но сочтёт эту встречу странной аберрацией наподобие дежавю, как мы его понимаем в мире живых. Для мёртвых же такие фокусы — дело рутинное и давно опостылевшее. Так что в ответ на удивлённый взгляд живого, в котором попеременно борются узнавание и недоверие, тот же самый, но мёртвый будет лишь продолжать мерно покачиваться и ничего более.

Московский зоопарк, Экзотариум

Мурена, пошитая из пятнистого чёрно-белого плюша, продёргивает мягкую ленту своего тела сквозь арку искусственного грота. Соорудила из себя подвижную петлю и застыла с приоткрытым ртом. Крылатка-зебра, оттопырив спицы всех своих китайских зонтиков, полощет полосатое шёлковое тряпьё, раздувает жабры, колышется, превращаясь в марево, только глаза, чёрные и неподвижные, точно пришитые, неподвижно вытаращились в разные стороны.

В одиночной камере чернопёрая рифовая акула выруливает, как исправная гоночная машина, или, может быть, небольшой самолёт-истребитель. Километры, которые она каждый день накручивает, возможно, могли бы расширить территорию Московского Зоопарка вплоть до второго кольца, затопив попутно десяток жилых районов, но здесь, смотанные в клубок, они без остатка растворяются телом воды, жадным до всякого движения. Время от времени сверху спускаются клочья бледного кальмарьего мяса, хлопьями кружатся в воде, акула аккуратными стремительными движениями челюсти, упрятанной наподобие люка в отглаженном серебристом корпусе, подбирает лёгкую добычу. Это имеет для зрителей особенную притягательность:

смотреть, как ест животное. Нехитрый этот процесс почему-то завораживает любопытного: он глядит, не отрываясь, быть может, испытывая специальное, чисто человеческое наслаждение — воображать себя пищей, не подвергаясь при этом ни малейшей опасности, будто бы кожу его щекочут и терзают мелкие отточенные лезвия зубов.

Скучает ли акула? Следит ли из-за своего стекла за людьми, или её взгляд соскальзывает со стеклянной поверхности, как маслом, смазанной светом, и не проникает наружу?

Ребёнок думает об этом не более секунды, он отвлекается соседним зрелищем, огромным шевелящимся лесом как бы молодых, покрытых мягким ворсом, оленьих рогов, и других, прозрачных щупалец, движущихся в каком-то им самим лишь внятном ритме. Их красота, равнодушная к человеку, однако вполне ему доступная, заставляет сердце ребёнка замирать ровно настолько, чтобы ему хватило времени поверить, что оно разучилось биться. Всякое сердце, и глаз, и любой орган, скользкий, лишённый кожи, нечувствительный к боли, больше знает о подводных существах, состоит с ними в каком-то родстве или молчаливом заговоре, может быть, направленном против своего обладателя. Красота органа или рыбы, менее всего пригодная для какого-либо применения или дружеского участия.

Дети, совсем маленькие и побольше, прибывали, как молоко или вода во время потопа. Всякое движение

происходило с оглядкой: то тут, то там под локоть грозила попасть маленькая голова или плечо, хрупкие, пугающие. Десятки живых существ, находящихся в процессе непрерывного превращения. Странно было, что все эти удивительные химические и физические процессы целью имеют то, чего на свете скучнее не выдумаешь: взрослого человека. Точно должно было быть наоборот, точно они так и замрут, как шахматные фигурки перед последней битвой, глядя мокрыми ягнячьими глазами, и ничего из теперешнего больше не станет.

Безответственная романтизация изменённых состояний

Впасть в запой. По крайней мере, на сутки, не меньше. Но и не сверх того (всё, что мы желали знать о формах восприятия у неодушевлённых механизмов, мы и так уже знали).

Наблюдать медленное преображение предметов. Не вульгарное изменение, но именно преображение, как если бы в них проступал их извечно предвиденный лик, стёршийся от повседневных прикосновений рукой или мыслью. Двурогие, выпрастывают они себя отовсюду, точно прежде прятались, тщетно ожидая быть найденными. Всякий из них обладает атрибутом пугающей необходимости, одновременно отталкивающей и притягательной, так что это напряжение противодействующих сил подвешивает мир, обращая во взвесь. Она парит и не падает.

В какой-то момент вдруг оказывается, что всё происходящее со мной и с вами представляет собой демонстрацию некоего кинофильма, не запечатлённого в плёнке или цифре, но особым голографическим образом снятого во всех четырёх доступных нам измерениях. Тогда, в процессе съёмки, любое движение было

результатом тщательнейшего подбора угла и ракурсов, искусно подсвеченное и обустроенное, всякий непорядок в кадре — специально спланированным и приведённым в действие многотысячелетней подготовкой. Теперь оно воспроизводится с пугающей и веселящей лёгкостью, не требуя ни малейшего напряжения. Точность воспроизведения, однако же, иллюзорна: мы знаем, что она результат монтажа и воспроизводит лишь то, что должно быть воспроизведено. И тут, и там мы встречаемся с повторением какого-нибудь особенно приглянувшегося кадра, не просто похожего, а того же самого, приобретающего другой смысл лишь в соседстве с предшествующими и последующими. Это могло быть в предыдущей серии, но могло, впрочем, и не быть вовсе. Эта двойственность, подозрительность иллюзии узнавания никого не желает ввести в заблуждение, потому что предъявляет себя как видимость, не более.

Зрелище не предполагает никакого зрителя. В этом его мистериальный смысл, который позволяет думать, что перед нами не просто кинокартина, предмет, существующий в полной мере лишь тогда, когда предъявлен какому-никакому наблюдателю. И мысль о том, что никто не увидит должное быть увиденным, отвращает и намекает на тщетность. Это же созерцающее само себя действие противоречиво, как глаз, наблюдающий сам себя, однако мысль о зеркале сводит парадокс на нет: мы понимаем, что находимся перед зеркалом. Мы не видим в нём себя, но мы есть то, что мы видим в нём. Наш взгляд заходит слишком далеко, всегда упираясь

в отталкивающую свет поверхность, но стоит чуть окоротить его, сосредоточившись на свойствах стекла.

Так, воздух, который мы видим, наполняется остаточными образами. Синеватые, песчаные, розовые, они заполняют пространство. Люди и предметы являются как бы в мареве своих прошлых и намёками будущих движений. Словно размазанные, они теряют чёткость, но приобретают некоторый шлейф, указывающий на то, какими они могли бы нам являться, если бы мы были вдруг лишены, как ненужного придатка, представления о времени. Тогда разрушимость всякой вещи или даже существа представляется чем-то обыденным, относящимся к его своеобразию и способам употребления. Белокурое, деревянное и смертное становятся свойствами одного порядка. Сон, который поглотит остатки дня, может завершиться пробуждением, но может и перейти в смерть. Это не имеет никакого значения.

Через какое-то время сон, точно, приходит. Глухой, без сновидений, начисто вырезающий шесть-восемь часов, в течение которых вы нигде и никак не существуете. Вы просыпаетесь от жажды или не просыпаетесь вовсе.

Тератомы пресакральной области

Тератома — опухоль, включающая в себя зубы, волосы, фрагменты костной и хрящевой ткани. Что-то вроде маленького оскалившегося животного, притаившегося в толще ни о чём не подозревающего организма. В древности тератомы вызывали суеверный ужас, им приписывали потустороннее происхождение и считали пособниками инфернальных сил, подсаженными в тела людей, которых облюбовал для себя ад. Возможно, здесь свою роль сыграл тот факт, что тератомам подвержены преимущественно женщины. Эмпедокл считал существование тератом доводом в пользу истинности своей экстравагантной концепции происхождения живых существ.

*

В окружающей действительности ничего было невозможно понять, она являлась как бы в образе решённого кроссворда и к дальнейшему чтению предназначена не была. Поэтому жил в постоянном сопровождении внутренней речи, как если бы смотрел жизнь в гнусавом одноголосом переводе, часто неверном или упускающем своеобразное остроумие оригинала.

*

Тогда Бог спросил Каина: «Где брат твой Авель?», а Каин ответил что-то вроде «Я не сторож брату моему»,

но Бог при этом знал, что Каин знает, и Каин обязательно тоже знал, что Бог знает, что Каин знает, и Бог знал, что Каин знает, что Бог знает — etc., и чем это всё в итоге закончится. Их разговор представлял собой искусное нагромождение дипломатических уловок, призванных покрыть эту ситуацию полной прозрачности некоторым флёром из недомолвок. Но то, что Богу было ведомо, а Каину, по-видимому, нет, так это что в другом, идеальном варианте развития истории человечества, который в строгом смысле историей не является и пишется всегда лишь в желательном наклонении, Каин всё равно убивает Авеля, но делает это без злого умысла, по неведению, и не несёт за содеянное почти никакого наказания. Эта оборотная желательная сторона существования вся сокрыта полной тьмой неведения и подобна сну без сновидений, о котором человек не может вынести никакого определённого суждения, вплоть до того, что не может даже сказать, был ли он вообще, и если да, то как долго.

*

Невидимое и не могущее быть засвидетельствованным — вот точка наваждения, вызывающая приступ невыносимого ужаса в сознании, освобождённом от присутствия всезнающего наблюдателя. Незасвидетельствованное не просто нам неведомо (ведь всегда есть некто, кому известно) — оно как бы не существует вовсе, его нельзя *выследить*, коль скоро оно не озаботилось оставлением следов, потому что не желает быть пойманным. До определённого момента европейская культура носила слегка параноидальный характер *расследования*,

сбора свидетельств и улик, при помощи которых истина могла бы быть выведенной на свет божий. Однако, на закате своего существования она всерьёз озаботилась категорией «неясного» — не того, что подлежит разъяснению, а того, что так и осталось неразъяснённым: преступление, которое так и не было раскрыто, невероятное совпадение, которое так и не получило никакого логического объяснения, сын, так и не узнавший имён своих родителей, обвиняемый, против которого так и не нашлось веских и убедительных улик, не дошедшие до нас тексты или те, что были уничтожены в момент своего завершения или несколько позже, — всё то, что не может быть засвидетельствованным. Быть может, истерическая одержимость письменами, произведение гигантского количества текстов и текстов по поводу этих текстов есть последний всплеск сопротивления перед окончательной победой невидимого.

Сирены в Берлинском зоопарке в 1986 году

Их можно было разглядеть вблизи. Во всяком случае, в хорошую погоду, когда они выползали из мирных солёных вод на кусок скалы, чтобы погреться на солнышке: две, даже три, если приглядеться. Маленькие старушечьи мордочки, покрытые бородавками. Раскосые тюленьи глаза, имевшие глумливое и лживое выражение, или такое свойство приписывал им взбудораженный легендами человечий разум. Тёмная складчатая кожа лоснилась от жира и того специального секрета, которому суеверными моряками ошибочно приписывались свойства афродизиака. Потому к началу XIX века твари эти были практически истреблены. Свидетельствовали, что их мясо жирно, нежно и, по правде сказать, невкусно. Пение? Частота звуков, создавших им славу, слишком высока, чтобы её могло уловить грубое человеческое ухо; в этом смысле они, скорее, сродни гармонии небесных сфер, однако производят на человеческое сознание одуряющее воздействие, так что человек на некоторое, иногда весьма продолжительное время как бы теряет рассудок, утрачивает способность ориентироваться в пространстве и изо всех сил стремится изловить этих уродливых существ, которые, однако, с изрядным проворством сигают в воду, увлекая за собой незадачливого

мореплавателя. Этот изящный акустический приём они используют для того, чтобы оглушать рыбу и разную мелкую морскую живность, которая служит им пищей. Здесь, отделённые от посетителей толстым слоем звукоизолирующего стекла, они утрачивают свои волшебные свойства и, безопасные и сами находящиеся в безопасности, доживают свой век под взглядами посетителей зоопарка, совершенно к ним равнодушные.

Я пристально вглядывался в личико ближайшей. Всякое животное внушает подозрение: им всегда как будто чего-то не достаёт, самой малости, для того, чтобы обладать лицом, но что если это всего лишь иллюзия, возникающая с непривычки? Что если человеческая хвалёная особенность, позволяющая одного распознать среди тысячи, тоже не более чем иллюзия и вековая привычка? Я слежу за бледной её мимикой, расслабленной, как у больного, потерявшего способность управлять своей мускулатурой: раз вылепив его из вязкой кожи, отливающей мазутом, природа отошла от дел, предоставив трудиться волнам, которые сгладят черты, придав им шутливое подобие человеческих. Только опьянённый безумием разум мог бы приписать этим лоснящимся шматкам сала облик прекрасных сладкоголосых дев. Вот одна фыркнула и сощурилась, другая же, елозя ластами, удивительно быстро соскользнула в воду, словно засмущавшись. Голос гида, разъяснявшего особенности природного поведения мифологических существ, представлялся им, вероятно, каким-то нерасчленимым и бессмысленным гулом. Я провёл возле них добрые три четверти часа и ничего в них не понял, мне захотелось уйти, и я ушёл.

В 1998 году последняя сирена в Берлинском зоопарке скончалась от старости, не оставив потомства. Об этом писали в газетах, но в ту пору очередной финансовый кризис несколько развлёк людей и им стало не до исчезновения вымирающих видов. Тем не менее, иной раз мой взгляд останавливается на каком-нибудь мелькнувшем в толпе лице и — то ли это призрак помешательства, то ли простая усталость глаза, измученного ежедневным зрелищем сотен и сотен лиц, под конец сливающихся в нечто невразумительное, — но черты эти вдруг кажутся мне знакомыми и свидетельствуют о том, что родовое древо сирен пресеклось не вовсе.

Женщина из Музея Гигиены

Женщина из санкт-петербургского Музея Гигиены. Продукт естественной мумификации. Она не была свидетельницей в точном смысле этого слова. Откопанная на кладбище возле села с жутковатым названием «Мартышкино», она выступала навстречу посетителям из своего стеклянного хранилища с трудно передаваемым выражением брезгливости, какое бывает свойственно только уже очень давно мёртвым людям. Золотистые кружева её платья потускнели, однако сохранились несколько лучше тканей кожи. Прямое положение к лицу мертвецам и лунатикам: точно они прикидываются живыми или бодрствующими, и это внушает ужас и почтение. Эту даму легко можно было вообразить себе в метро или пытающуюся расплатиться в магазине истлевшими и вышедшими из употребления купюрами. Приподнятая на своём постаменте, она становилась почти вровень с живыми (смерть делает человека более компактным, слегка подсушенным, как будто бы он был его самого изображающей восковой фигурой. В детстве так и представлялось — будто человек каким-то образом исчезает и на его место помещают довольно точную, но плохо отображающую особенности выражения лица восковую фигуру. Так сказать, в порядке ритуала. Куда исчезают настоящие тела — об этом было неприятно

и захватывающе поразмыслить. Возможно, их кто-то похищал, оставляя взамен копию-фальшивку. Копию полагалось целовать в лоб, и это было так же неестественно, как вообще дотрагиваться до незнакомых неживых предметов, однако, раз уж все так сговорились, то приходится). Женщине из Музея Гигиены вполне могло в какой-то момент прискучить находиться в своей витрине, точно она манекенщица, демонстрирующая двести лет назад вышедшие из моды одежды; тогда она переодевается в современное и ходит по улице, тонкая, сухая, как плеть, с подкрашенными веками, заходит, может быть, к кому-нибудь в гости, изъясняется жестами (голосовые связки давно ссохлись и разрушились, поэтому лицо её приобретает особую обезьянью выразительность, как это всегда происходит в дальних странах, язык которых нам не вполне знаком.) Все мёртвые разучиваются говорить на языке, точно впадают в глубокое детство. Их нужно учить всему заново: ходить, изъясняться, следовать правилам приличия. Они наивны и нечувствительны, так что запросто могут задеть или даже оскорбить. Но это они совершают не со зла, а по неведенью. Мёртвые требуют от живых бесконечного терпения: им всё нужно разжёвывать по несколько раз. Они лишены чувства юмора. Их с трудом удаётся рассмешить. Их невозможно переубедить. Из всех человеческих эмоций им доступны только самые нехитрые, из тех, что сближают нас с дикими животными. Возможно, смерть — просто неизбежный процесс одичания, как если бы человек вдруг освобождался из-под надзора себе подобных и приобретал повадки других предметов. Осваивал какую-то странную профессию. Женщина из

Музея Гигиены, ставшая экспонатам, обладала теперь новым смыслом, прежде ей не присущим, а лишь грезившимся: точно вырезанная из цельного куска мыла. Возможно, так развлекаются в заключении или в больнице, когда решительно нечем больше себя занять. Эти хитроумные поделки, шахматные фигуры в человеческий рост величиной, хранятся в громадных деревянных ящиках и в особых случаях извлекаются наружу для игры. По этому случаю им присваиваются имена когда-то живших людей. Но мы не станем обманываться случайным или умышленным сходством.

Странные создания Свифта

возможно, это и есть бессмертие

Странные создания Свифта. Практически лишённые памяти, постоянно испытывающие непереносимые физические страдания, бессмысленные и обречённые объекты. В какой-то момент они действительно стали появляться. Побочный продукт эволюции (говорили о них), трагическая ошибка природы.

Всё было не так просто (как предполагал о них Свифт). Обречённые на бессмертие не рождались с особой отметиной на челе, они были вовсе лишены специальных признаков, обличение которых сделало бы их существование невыносимым с самого начала. Всё было не так страшно. До поры до времени они могли позволить себе роскошь заблуждаться о собственном существовании, полагать себя такими же смертными, как и остальные, и требовать себе по этому поводу таких же привилегий. Ведь они смертны и из этого что-то следует. На (в среднем) сто сороковом году они (как предполагал о них Свифт), вслед за окружающими, понимают, что эта бодяга неспроста. На (в среднем) двухсотом году они проникаются уверенностью в том, что эта бодяга неспроста.

Те, к кому они были привязаны, умерли. Дети тех, к кому они были привязаны, к которым они были привязаны потому, что они напоминали тех, к кому они были привязаны, умерли. Дети детей тех, к кому они были привязаны, к которым они были привязаны потому, что это напоминало им о тех приятных ощущениях, которые вызывали в них те, к кому они были привязаны, умерли тоже. Даже очертания земной коры успели неуловимо измениться, что, пока ещё, внушает лишь смутные подозрения. Странные создания Свифта, на третьем столетии своего существования испытывающие потребность сбиваться в колонии, дабы сосуществовать с себе подобными, на четвёртом столетии устают друг от друга не меньше, чем от себя самих, и скрываются в норах. В глубоких, причудливо извивающихся норах. Ноздреватая от их прохождений земля устало принимает страдальцев в свою толщу как последнее прибежище.

Самое худшее, что таит в себе судьба странных созданий Свифта, это, пожалуй, то, что они всё-таки, в конечном итоге, смертны. Уже ничего не понимающих и не помнящих, покроет их корка льда, когда-нибудь, когда Солнце, по выражению одного из глав одного из государств, о котором к тому времени не останется и воспоминания, превратится в какого-то жёлтого карлика, почва перестанет производить плоды, недра её опустеют. Но даже они уже не смогут выступить свидетелями по этому делу. Не смогут выступить свидетелями по этому делу.

Город

Этот город похож на прекрасную молодую идиотку, развалившуюся на берегу, его шероховатая шкура потрескалась и истекает маленькими рыжими муравьями, он не способен к членораздельной речи, но постоянно лепечет сам с собой, о чём-то советуется, на что-то соглашается. Он набожен и весь увешан дутыми золочёными побрякушками, звенящими от ветра и по праздникам. Под окном похотливые мальвы жадно выворачивают рты, являя желтоватую мягкую гортань, как в Крыму, вдоль дороги цветут мясистые люпины, синие, розовые, фиолетовые.

Река узкая и мелкая, почти детская, только в том месте, где она впадает в озерную прорву, вдруг расширяется, чтобы исторгнуть в него кисловатую пахучую воду. В середине весны вспухает по краям и мерно рокочет: происходит сезонное спаривание лягушек. В уголках появляется крутая пена, как при эпилептическом припадке, лягушки, не разбирая своих и чужих, превращаются в кипящую массу целых и порванных тел, перекатываются друг через друга, щурят выпуклые золотистые зенки с узкими, плоскими, как надрез, зрачками. Потом на дороге вдоль берега всё красное.

Кажется, что в этом буйстве нет ничего от природы, ничего от преумножения: кажется, конечная цель всего действа размолоть тела спаривающихся окончательно, разодрать их кожу, сплести обнажившиеся внутренности в один невообразимый шевелящийся шар. Река в это время совсем медленная, кровоточит и пахнет морским и солёным.

Здесь ещё ходит автобус-«однёрка», в нём вяло перевариваются пассажиры и пол густо усеян семечковой лузгой. Иногда неизвестно откуда появляется стайка подростков на «скутерах». Они медленно и бесшумно шествуют на малом расстоянии друг от друга, в чёрных футболках и чёрных банданах и вдруг исчезают за поворотом. Ещё есть свадебные гундосые автомобили, разряженные как майский шест, по воскресеньям они наворачивают круги на главной площади и тоже куда-то потом исчезают. Другого движения в городе не происходит, только одинокий дирижабль болтается в воздухе и рекламирует текстильную фабрику.

Те, кто рождён здесь, стремятся отсюда, те, кто приехал, пытаются закрепиться и приумножиться, но их дети снова будут стремиться отсюда. Этот город — перевалочный пункт, стоянка длиной в одно колено. Здесь почти нет коренных. Здесь хорошо умирать.

Два рыбака на берегу разложили газету, вывалили кулёк мелкой рыбёшки, папертная медь, кошачий суп, достали ножи. После закатали рукава для локтей и принялись мыть рыбу. Перемыли всю, покидали в кулёк,

спрятали ножи в карманы штанов и убрались восвояси. В это время табунчик франкоговорящих туристов — все пожилые, в мятых хлопчато-бумажных футболках, панамах и фотоаппаратах — просеменил через прогнувшийся деревянный мост: пощёлкали мост и толстенькие пьяные кувшинки под мостом, пощебетали вкусным галльским щебетом. На одного уселся элегантный жук-пожарник, шевелил усами, подмигивал, делал какие-то двусмысленные знаки надкрыльями и, в конце концов, ничего не добившись, полетел дальше.

А тот забрался в куст душной белой сирени, плотной, как саван, притулился у корней и гадит, втягивая ноздрями густой парфюмерный запах. А там художник со своим неуклюжим трёхногим зверьём, выставившим разноцветную требуху, он выдавливает из скрюченного тюбика полуколбаску охры и кадмия на полплевка, треножник роет землю заострённым копытцем, мимо проходят школьницы и глазеют, у одной на коленке спеклось, другая перекатывает за щекой.

Электричество

Сильный электрический разряд сообщает телу ощущение глубины. Это не имеет ничего общего с обыкновенным ощущением собственной телесности, которое всегда располагается на поверхности, словно игра нефтяного пятна, отменяющая присутствие воды. Электричество не обнаруживает плоть, но проницает её толщу.

Последние сутки я ощущаю как бы слабые разряды электрического тока, то там, то тут щёлкающие в голове: мозг, пойманный подвижной сверкающей сетью. Это не больно, только странно. Странно ощущать, что голова шар. Глядя, мы не чувствуем, что глаз — шар, случись нам оценить форму глаза, не видя его, мы скорее приняли бы его за луч или за движущуюся точку.

Это что-то вроде фотокамеры, сделанной из спичечных коробков, жестянок из-под пива и прочей подручной дряни: снимки выходят нерезкие и причудливые, размытые по краям, толща воздуха становится явной, а предметы нередко перетекают в фон и друг в друга. Можно вынуть и вылепить шар из того, что перед глазами, тогда остатки тут же, хлюпая и пузырясь, сольются в неразличимую массу.

Тогда охватывает ярость, и я протекаю сквозь пальцы ярости, скатываюсь в крошечные шарики ртути по

краям, мой вечный ночной кошмар: термометр разбился и раскатилось по всем углам. Всё помещение пропитано парами ртути, и мозг, ослабленный, разжиженный, безвольно крутится в черепной коробке, как пронумерованные шары во время лотерейного розыгрыша, вот один выскакивает изо рта, девушка громко объявляет номер, по ту сторону экрана люди сверяют номера и ничего не выигрывают.

Всё тело обращается вдруг в слабо колышащиеся полупрозрачные кладки каких-то неведомых земноводных тварей, набухает, в каждом зерне кладки покачивается еле различимый плод. Нападает холод: хочется скрючиться, закутаться в три одеяла: наутро открывают — и вместо человека клубок извивающихся гад морских, которые расползаются, расползаются, расползаются —

Твои чувствилища рассеяны по квартире, заползают под обои, сползают снаружи оконного стекла. Ты одновременно внутри, и снаружи, и во всех частях квартиры, которая превращается в неудобоваримое шершавое лакомство: раскрошенная фисташковая скорлупа, застрявшая в ворсе ковра, отстающая штукатурка, плюющийся во все стороны цветок хлорофитума терзают подъязычье, занозят мягкое нёбо, словно тебе следует заглотить и переварить все поверхности своего убогого жилища, превратить в такую же неразличимую массу, которая по краям, куда шарики не докатились.

После приходит изнеможение и сон. Я вижу большую неспокойную воду, то разливающуюся (и тогда она

мелкая, желтовато-красная, волосатая от водорослей), то вдруг судорожно сжимающую гладкие вогнутые берега, или пошла ноздреватая от ласточкиных нор полоса обрыва, здесь и сами ласточки, снуют как коклюшки, хищные раздвоенные хвосты, и низко так, низко —

После всё небо на секунду продёрнуто электричеством, словно кто-то на скорую руку сшивает набрякшие расходящиеся ткани. Хлоп — не успели: что-то мертвенно-синее, с желтоватым исподом на секунду вываливает извивающиеся кольца, это спешно уминают внутрь и вновь прошивают изогнутой иглой. Грохот: что-то тяжёлое уронили на поддон. После всё смыли водой.

Вкус ванили

Вкус ванили: неуловим. О нём нельзя сказать толком, вкус он или запах: никто из нас никогда и не едал ванили. Мясо на вкус как мясо и сыр как сыр, но ваниль сообщает всякой пище свойство неуловимости, сколько бы мы её ни съели: мы ощущаем пресыщение и разочарование тем, что так и не раскусили ваниль.

Совсем иначе, но так же неуловима полынь. Растирать её меж пальцев, чтобы усилить запах, полонящий нас. Тщательно и тщетно, оттого что горечь улетучивается, остаётся простой запах травы.

Хороша пижма: в её названии слышатся жеманно поджатые губы и жёлтый цвет, её медальоны плотного ворса, которые можно долго толочь в ладони, пижма медлительна в расставании со своими свойствами, и, когда нам надоедает и мы раскрываем ладонь лицом к земле, жёлтое крошево всё ещё сохраняет запах.

Многоротое чудовище, похищающее запах. Оно подстережёт в полдень, вопьётся в кожу семижды семьюдесятью влажными губами, защекочет семижды семьюдесятью раздвоенными языками, пока человек не упадёт в изнеможении от хохота и похоти. Очнувшись,

он навеки лишён запаха: теперь ни один пёс не возьмёт его след и ни один собеседник не вспомнит о том, как он выглядел, каково его имя и голос: люди без запаха не задерживаются в памяти других, стоит им исчезнуть из вида. Он чувствует, но не может понять. Часами стоит под душем, силясь смыть с себя что-то. Пустота кажется нам какой-то вещью наряду с прочими вещами, мы воображаем, что можем избавиться от пустоты, как от намозолившего глаз предмета меблировки. Но мы не можем.

Женщины, заполняющие всё помещение своим хищным парфюмом. Они, как кальмары, испускают клубящееся облако чернил, чтобы скрыться в них. Чтобы ни один пёс не взял их след. Женщины хорошо маскируются: ни один пёс не возьмёт их след.

Мальчик говорит: «от тебя духами пахнет». Духи живут в маленьких склянках и служат тому, кто их выпускает. Существуют целые индустрии, выпускающие духов.

Между тем от пустоты нельзя избавиться, но также ошибочно полагать, будто мы можем её заполнить. Пустота покрыта прочной белковой оболочкой, наподобие плавательного пузыря у рыб. Человека, внутри которого выросла пустота, легко вычислить, но нелегко выследить: ни одна рыба не возьмёт его след. Он, как пузырь, силится быть вытолкнутым толщей воды, но толща воды не имеет поверхности: вода выталкивает и не выпускает. У них, как у рыб, отрастает боковая линия, позволяющая избежать приближающегося преследователя, не

взглянув на него, даже не подозревая о нём. Пустоту нельзя ни извлечь, ни заполнить: только точный удар иглы прокалывает оболочку, поэтому движения их сбивчивы и они сами не понимают, отчего их ни с того, ни с сего кидает из стороны в сторону, шатает, вдруг сгибает в три погибели и отбрасывает далеко назад. Они лишены маршрута и их движения непредсказуемы.

У девочки в коробке из-под обуви жили два рыбьих пузыря, Шантеклер и Теодорих. Они были сухие и ничем не пахли. Мальчик в один прекрасный день почистил всю обувь в квартире коричневым кремом, потому что не мог остановиться, потом обувь закончилась и он почистил её ещё раз.

Игла бьёт наугад, она слепа и вся одно острие. Это случается, когда в голове без всякого повода вдруг возникает какое-то слово, о котором мы не имеем обыкновения думать в повседневной жизни, «олень», например, или «вереск». И вдруг в следующую секунду я переворачиваю страницу и вижу там «вереск», или на экране появляется олень, хотя ни об оленях, ни о вереске в этой книге или в этом фильме прежде и речи не было. Бессмысленность этого совпадения служит залогом того, что игла ударила в цель.

Органы

Мы передаём друг другу органы, играемся в них, словно в игрушки. Вот одна из них, помешкав, выковыривает глазное яблоко и швыряется им в соседку, та смеётся, отирает лоб, но эта девушка не в её вкусе, девушки вообще не входят в число её любимых блюд, и она, в свою очередь, посылает третий глаз молодому человеку моих лет в непроницаемых солнцезащитных очках. В это время одна из девушек вырывает у другой язык, видимо, опасаясь, что она о чём-то проболтается, та защищается, но, видя, что сделанного не воротить, начинает изъясняться пальцами, в особо патетичных местах прибегая даже к помощи пальцев ног, окружающие, сочувствуя, подбрасывают ей свои руки, и она, обрастая ими, как морской полип, сочинила уже целую поэму.

А вот и не человек уже, а словно бы распахнутый шкаф, разложил перед собой свои причиндалы — пару крепких фиолетовых почек с зеленоватым отливом, мотки оранжевых кишок, мешковатое сердце с признаками ожирения, перебирает и улыбается, как идиот. Сегодня жарко и все ходят с животами на распашку, со стянутыми на затылок скальпами, вовсе без одежды или прикрывая по выбору те части тела, которые сами считает срамными. А эта достала из живота пузырь

с пятимесячным эмбрионом и потряхивает перед собой, хвастается подружкам, жидкость в пузыре булькает, эмбрион спит вниз головой, скрестив ноги, и тихо питается через дырку в пузе. Так тяжело переносят здесь жару.

Это верно подметил Лукиан, что человек от природы не имеет никакого органа, посредством которого мог бы совокупляться с другим человеком. Существующие протезы дороги и получение их требует значительных затрат. Обыкновенно люди используют какие-либо подручные средства, которые имплантируют в собственное тело и используют наподобие того, как в биллиарде используют лузы и шары. Совокупление — краткое и однократное действие, после которого один из совокупляющихся теряет свой протез, зато другой приобретает два, впоследствии он может использовать их для других актов. Количество протезов, находящихся в обороте, почти всегда неизменно, хотя сами предметы ломаются или утрачиваются. Совокупление связано с нанесением некоторого ущерба и всегда совершается в тайне. Люди, совершающие совокупление, как правило, не знают о том, что они его совершают, лишь много после, ощутив довлеющую пустоту или избыток, они догадываются об этом.

О мертвецах

Труп простодушен. Он лишён лукавства, однако же в нём есть тайна. Он долженствует быть сокрытым — однако же сам ни от кого не скрывается. Не способный быть свидетелем, он, тем не менее, являет собой свидетельство. Свидетельские показания могут быть подвергнуты сомнению, свидетельство же трупа неопровержимо: даже если он изуродован до неузнаваемости, даже когда его насильственно лишили всех черт, по которым его можно было бы идентифицировать с той или иной личностью — всё же мы можем сказать с уверенностью по крайней мере то, что перед нами находится мёртвое тело. Да и какая польза была бы от этой идентификации, когда она уже изначально содержит в себе некую грубую ошибку? Расследования преступлений — дела живых, до мёртвых оно уже не имеет касательства. Поэтому в тайне мы испытываем зависть к трупу, некую особенную брезгливость, смешанную с восторгом: ведь наше свидетельство против его — ничто, слово человека против слова улики, не отражающее какое-либо событие, но являющее его самым своим существованием. Поэтому от трупов так спешат избавиться — скрыть их под землёй, предать огню или истребить каким-либо иным образом, не столько из страха перед превращениями, могущими произойти в них, сколько из суеверного опасения того, что эти превращения затронут, втянут и поработят нас самих.

Мало какое зрелище вызывает у нас столь сильный ужас, как вид повешенного. Прямое положение тела, его лёгкое покачивание придаёт ему облик живого, как бы восставшего из мира мёртвых, но утратившего все права и возможности; голова свесилась на бок, в то время как кончики ног зависли над землёй в свободном парении и тело воспаряет к небесам. Повешенный напоминает марионетку, вздетую на крючок после окончания представления, и кто может поручиться, что кто-либо вновь не приведёт её члены в движение? Приподнятое над землёй, но и не прилежащее небесам, тело повешенного являет собой промежуточную стадию: не живое и не мёртвое, но, кажется, могущее быть приведённым в действие, точно за каждым повешенным скрывается чёрт или какая-нибудь ещё более странная сила. Всякий, кому доводилось снимать тело повешенного с крюка, знает это жуткое ощущение, когда лёгкость свободно закреплённого на верёвке или ремне тела сменяется вдруг тяжестью в наших собственных руках, которая представляется нам непомерной: точно мы забрали у чёрта или той, иной неназванной силы её добычу и вместе с ней взяли на себя какую-то не до конца нам самим ясную обязанность. След этой тяжести наподобие печати надолго остаётся в нашей мускульной памяти и время от времени проступает в ней, точно желает нам напомнить неизвестно о чём, вызывая на внутренней поверхности кожи лёгкую рябь.

Бабочка

С внезапным бесшумным хлопком, который вы, скорее, чувствуете кожей как лёгкое дуновение, распахивается бабочка, точно многоокое окно, ведущее в другой мир, распахивается и вновь схлопывается. Будто бы само пространство взглянуло вдруг на вас, будто бы оно моргает, оттого что в глаз ему попало мохнатое, с шерстистыми щекочущими усами тельце бабочки. Она распята на собственных крыльях, маленький воздухоплаватель в шерстяном костюме, для которого вы — гигантское, неизвестно откуда возникшее препятствие. В жаркую погоду в воздухе рябит от бабочек — громадные, глазастые, попеременно схлопывающиеся и распахивающиеся, так что начинает казаться, будто сам воздух — мираж, и вот-вот прорвётся, и вы, очутившись в точке его разрыва, окажетесь нигде. С той стороны как будет выглядеть эта ткань, какова изнанка её швов, искусно спрятанных там и тут, так что издалека она выглядит цельнотканной, да так плотно, что невозможно вытянуть из неё ни одной нити, не разрушив всю её фактуру? Ткань эта, наброшенная на пустоту, включает и вас, и меня, как существ, также обладающих зрением, осязанием и могущих быть видимыми и осязаемыми. Любая осязающая поверхность чревата глазом и не являются ли многочисленные сказания о тысячеглазых

существах неким предчувствием далёкого прошлого, когда зрение было размазанным по всей поверхности живого существа? Но это всего лишь болтовня о бабочках. Время их жизни, на наш человеческий взгляд, слишком коротко, но что мы можем сказать о том, как сама бабочка может оценить длину своей жизни? Ёмкость её внутреннего времени вполне могла бы оказаться достаточно велика, чтобы вместить невероятную плотность событий. Того, что она могла бы счесть событием (и это не более, чем наши догадки, ибо, что, в конечном итоге, можно считать «событием»?) Как мы узнаём о том, является ли событием то, что мы переживаем в данный момент? Возможно, сами «события» — не более чем наши поздние домыслы, когда мы стремимся каким-то образом упаковать наше время в цепь связных коротких рассказов. Но бабочки не нуждаются в том, чтобы сочинять рассказы, бабочка — сама рассказ. Помнит ли она свои предыдущие метаморфозы? Является ли такая память чем-то необходимым, или перед нами несколько разных существ, которые никогда не могут встретиться? Но и мы лишены способности встретиться с теми нами, которыми были несколько лет назад, дать верный совет, предсказать судьбу. Мы лишены способности заглядывать в прошлое, поэтому удовлетворяемся тем, что выдумываем его. В противном случае мы рисковали бы обнаружить себя самих чем-то вроде бабочки, случайного бесшумного хлопка, посредством которого пространство оглядывает себя само. Секунда — и оно моргает, и кто тогда видит его? Потому-то мы предпочитаем думать, что обладаем прошлым.

III

В одном городке в окрестностях Тулузы

В одном городке в окрестностях Тулузы гражданам запрещено умирать. Нарушивший постановление подлежит административным взысканиям. Граждане, вовремя не успевшие зарезервировать место на единственном, пока ещё действующем кладбище, ходят понурые, вечно оглядываются, только тем и озабочены, как бы ненароком не умереть. Немногие избранные, у которых такое место имеется, ходят, гордо расправив плечи, распрямив спину, подставив лицо сухому шершавому воздуху. Они ясным прямым взглядом смотрят в глаза представителям местной административной и исполнительной власти. Им не страшно умирать.

Шесть пальцев на левой руке

У неё шесть пальцев на левой руке. Вместо того, чтобы, как поступают другие представители подвида шестипалых, зажимать лишний палец в кулаке, она постоянно жестикулирует обеими руками так быстро и убедительно, что у окружающих не остаётся времени сосчитать или хотя бы что-нибудь заподозрить.

Форточка

Они уже довольно давно сидели в комнате, в шевелящемся никотиновом воздухе, не решаясь открыть форточку, потому что за окном творилось такое — и Н. всё время пошатывал зуб, а Т. вертел в стакане серебряной ложечкой, и Наташа подумала, что сахар давно разошёлся, а потом вспомнила, что сахар давно закончился, и сказала Т.: «Оставь ложечку в покое», и Н.: «Открой форточку». Н. звякнул шпингалетом, воздух заворочался, как пёс, и затрусил к выходу, но за окном творилось такое, и он предпочёл остаться в тепле, с людьми. Т. оставил ложечку и принялся расшатывать зуб. Наташа подумала, что на небесах, где их играют какие-нибудь красивые люди, всё выглядит совсем по-другому.

N. крал лица

N. крал лица. Глянется ему какое-нибудь, и он тут же исподволь в него влезает, примеривает мимические особенности, расслабляет или увеличивает тонус мышц, так или этак сдвигает брови. Лицами известными, кинозвёздами или общественными деятелями брезговал — слишком заметно. Хорошо знакомые люди тоже не годились — сторонний взгляд мог засвидетельствовать умыкание. В крайнем случае, старался этих людей потом избегать. Лучше всего было работать в метро, на длинных перегонах, когда человек вынужденно ограничен в передвижениях и абсолютно беззащитен. Предпочитал тех, что уже в возрасте, лет за пятьдесят, с хорошо определившимся и закрепившимся рисунком. Женские лица тоже годились, но вообще-то их было всего несколько — для некоторых особых случаев. Было у него и своё собственное лицо, по правде сказать, довольно неприятное. Им он пользовался либо среди домашних, либо в тех случаях, когда хотел произвести не слишком приятное впечатление, показать, что разговор закончен, например. Оставшись наедине с самим собой, всегда извлекал излюбленное, безразлично-кроткое обличье, подсмотренное пятнадцать лет назад у регистраторши в одной приморской гостинице, и чувствовал себя в эти моменты самым прекрасным и умиротворённым

существом во вселенной и про себя обращался к самому себе с немногословными репликами, какие произносят, скорее, для того, чтобы удостовериться в присутствии, чем чтобы что-то сообщить.

Конфиденциальный разговор

…и допытывались у Лазаря, что видел он, когда пребывал по ту сторону жизни, но тот всё отмалчивался и переводил разговор на другую тему. И только после, в разговоре с Марией, происходившем с глазу на глаз, признался:

там нет ничего

Воскресение

Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе.

Воскресение только что умершего представляется менее невероятным: неподвижное, тело, кажется, ждёт одного только прикосновения, одного глотка дыхания, чтобы, впитав его, задышать самому. Человек с зеркальцем, желая разглядеть признаки жизни, приближает своё лицо слишком сильно, так что его собственное дыхание, тайно для него, замутняет поверхность стекла.

Воскресение умершего несколько часов назад менее вероятно для рассудка, но легко достигается воображением. Окоченевшее, точно напрягшееся, тело умершего несколько часов назад обладает формой более чем когда либо и своей каменной твёрдостью напоминает статую. Оживить статую — что может быть легче?

Но тело, затронутое разложением настолько, что *уже смердит*, переставшее быть телом, превратившееся в полигон органических превращений, булькающее и лопающееся от ищущего выход газа, — кому под силу его воскресить, кроме Него? Чудо является в сладковатом тошнотворном мареве, точно привидевшееся в обморочном бреду.

Заблуждение

— This is a trick, — произнесла Лиззи за несколько часов до смерти. Некоторые, впрочем, уверяют, что она сказала «It's six o'clock»

У дельфинов ведь тоже были свои верования, своя сложная и разветвлённая система религиозных воззрений. Встречались среди них и дельфины-шахиды, подводные Рыцари Веры. Они нарочно подстерегали корабли и кружили возле них в надежде быть выловленными. Лиззи была как раз из таких. Ей повезло.

Каково же было её разочарование, когда оказалось, что люди вовсе не являются божественными существами, носителями сверхразума, а, напротив, сами ловят дельфинов в надежде узнать от них нечто, недоступное слабому человеческому уму.

Человек, который выиграл в тетрис

То есть это он так говорит, потому что при этом никто не присутствовал и, следовательно, подтвердить либо опровергнуть не может. Если поверить ему, то это случилось так: на тогда ещё чёрно-зелёном мониторе внезапно загорелись огромные ступенчатые буквы, сложившиеся в слова GAME OVER и, чуть ниже и мельче, CONGRATULATIONS и три восклицательных знака. И не хотели исчезать вплоть до выключения компьютера путём нажатия на кнопку ON/OFF, что чревато.

С тех пор прошло уже довольно много времени, в течение которого не произошло ничего особенного и определённого. Мы постепенно стали подзабывать об этой истории, сами понимаете, жизнь есть жизнь, существуют проблемы и поважней, один умер, другой, наоборот, размножился, третий вконец свихнулся, четвёртый и всегда был слегка не в себе. Иногда доходят кое-какие слухи. Тогда мы поневоле настораживаемся и ждём. Сами не знаем, зачем. Скорее всего, это был обыкновенный сбой в программе. Но нет-нет да и.

Он был восхищен духами

J. был восх*и*щен духами, а после возвращён на место. Монотонным, безуханным, как вода, голосом, он рассказывал о том, что ему было открыто в царстве духов:

— Комната. Белая, сводчатый потолок. Потом другая комната, больше и светлей. Круглое окно. В окне деревья, вода. Вода тёмная. Существа с выпуклыми глазами. Ходят. Не говорят, смотрят. Звуки. Как будто дребезжит стекло. Поезд, или гром. Так постоянно. Больше ничего. Да, ягоды.

Лицо его, расслабленное, почти утратившее мимику, было точно отпечатанным на пишущей машинке, в которую нарочно не заправили ленту, в два слоя, и вот теперь из-под него выдернули копирку и там, у себя, изучают результаты.

Они испортились

А. (*разглядывает картинки на экране*): Они другие. Видишь, как они испортились?

Х. (*не глядя*): Такие же, как были.

А.: Ты даже не смотришь. Если бы посмотрел, то увидел — они испортились.

Х. (*не глядя*): Может быть, это не они испортились. Может быть, это ты испортился. Второе вероятней.

А.: Они испортились, я испортился. Ты думаешь, одно исключает другое? Напротив. Все вещи портятся, и я, и эти куклы.

Х.: Они и прежде были не фонтан.

А.: Во всяком случае, в них была жизнь.

Х.: Если не ошибаюсь, они всегда выглядели мёртвыми.

А.: Раньше они выглядели так, словно прикидывались мёртвыми. А теперь уже не прикидываются, а как будто по правде умерли.

Х.: Но и тогда, и после их делали из полихлорвинила.

А.: Ты бы лучше на них посмотрел.

Х. (*смотрит на экран*): Ну, посмотрел. Ничего не замечаю особенного.

А.: Вот именно.

голос за кадром

— в один прекрасный день все вещи оказались испорченными. Старые вещи испортились от старости, новые

вещи производились уже изначально испорченными, и невозможно было отличить их друг от друга. Всё никуда не годилось. Ни одной хорошей, неиспортившейся вещи не осталось, и невозможно было увидеть и понять, каковы они были прежде. Так продолжалось и продолжалось до тех пор, пока в мире что-то оставалось.

Сюжеты

В одной сказке Андерсена вещи, пока были невелики, играли в людей, после выросли и перестали прикидываться.

В одном переводном рассказе главный герой просит милостыню в подземных переходах, пока не наберёт достаточно денег, чтобы купить свежую газету, потому что всегда хочет быть в курсе событий. Покупает и уходит.

В одном фильме рассказывается история двух шлемилей, которые проводили время за игрой в шашки, а поскольку шашек у них не было, то они использовали для этого шахматы, в которые играть не умели. В конце концов, какой-то добрый человек, проникшись к ним сочувствием, дарит им настоящие шашки. Шлемили ужасно радуются, берут шашки и играют ими в «конницу Чапаева».

В одном фантастическом рассказе существовал агрегат по измерению времени при помощи сигаретного пепла. Это позволяло судить не только о длительности, но и об интенсивности существования. Полученные порции пепла прессуются и складываются в специальном хранилище. Ведь если существует небесная канцелярия,

то логично предположить, что где-нибудь есть и небесный колумбарий.

В одном сне А. привиделось, что её тело — это две переплетённые змеи. Вот они разъединились и поползли, каждая в свою сторону. Вместо одной А. стало две змеи. Ни одна из них не была А. в собственном смысле, да и не было у А. никакого такого собственного смысла, а у любой из двух змей, образовавшихся на её месте, он был. Так она ползла в разные стороны и ползла, пока не проснулась.

Терракотовая армия

…император Цинь Шихуан, когда-то провозгласивший: «пусть цветут сто цветов, пусть процветают сто школ».

Сто цветов процвели и начали так ужасно браниться друг на друга и на императора, что тот в конце концов учредил диктатуру и остаток дней провёл в обществе терракотовых статуй.

К. вернулась из Китая и рассказывает: терракотовая армия — самое дорогое и бессмысленное из всех развлечений, которыми их с супругом порадовал Китай. Большая часть солдат побилась, а у оставшихся вынули бронзовые копья, которыми они прежде были вооружены, так они и стоят, сжимая в вытянутой руке будто бы воображаемый хуй.

Маленькие пылевые смерчи

Водились такие в Донецкой области, К. рассказывал. Если в ветреную погоду выйти в чисто поле, то запросто можно столкнуться. Величиной с небольшого ребёнка лет десяти-одиннадцати, достаёт до середины груди, а бывают и постарше. Очень странное ощущение, когда находишься с ними рядом. Не свирепы, но и радушием не отличаются. Медленно шествуют мимо, лихо вворачивая в себя пыль, кусочки травы, мелкую каменную крошку — всё, что им под силу поднять. Когда ветер стихнет — исчезают бесследно, рассыпаясь на пыль и воздух, через какое-то время возникают в совершенно другом месте. Один раз такой маленький смерч, всего метр с кепкой ростом, подошёл близко-близко и что-то прошептал. Невозможно было разобрать. Невежественные люди полагают, что таким образом души умерших детей пытаются вернуть себе плоть.

В шкатулке что-то гремело

Деревянная, лакированная, как будто облизанная языком гигантского дракона. С папиросную пачку величиной. Она не открывалась.

Не то чтобы она была заперта на ключ или с каким-нибудь секретом, нет. Она не открывалась в принципе. Цельный кусок дерева, покрытый чёрным лаком, лёгкий и полый. *Там что-то гремело.*

Что там может быть? — гадали и строили предположения. Что-нибудь очень ценное или, наоборот, крайне опасное. *В шкатулке что-то гремело,* и невозможно было выяснить, что именно. Это возбуждало любопытство.

И вы, конечно, не будете удивлены слишком сильно, узнав, как были разочарованы дети, не столько потому, что ничего ценного или опасного в шкатулке не содержалось (а был там маленький металлический шарик, который бойко выскочил из рук и покатился по полу сразу после того, как шкатулка была расколота), а, скорей, оттого, что поняли: вопрос был с самого начала поставлен неверно. Не «что там гремело», а «как оно там оказалось». И этот совершенно правильно поставленный вопрос так и остался без ответа.

Джеральдин Чаплин

Джеральдин Чаплин в средней руки мистическом триллере, истончившаяся, дегидрированная, с накрепко присушенной кожей, на которой трещинами и рельефами обозначены все мимические механизмы, пятьдесят с лишним лет приводившие зрителя в исступление ума. Напоминает хорошенькую мумию, с удивительной грацией движущую саму себя посредством исчезающе тонких тростей.

Чем старше она делается, тем крепче любит её плёнка, с тем, возможно, чтобы под конец целиком впитать в себя её черты, и тогда с той стороны не останется и горстки праха: как переводная картинка, отойдёт её образ, покривившись слегка в околоплодных водах, и навеки прилепится к экрану.

Рот Жанны Моро

Преувеличенно опущенные уголки губ наводят на мысли не столько об античной маске трагедии, сколько о другой, скривившейся в гримасе непереносимой брезгливости. В нём что-то жабье, точно возникшее от воображаемого ощущения холодноватой скользкой пупырчатой кожи, которой даже ещё не коснулись. Как будто ужас, внушённый видом отвратительного существа, принуждает становиться похожим на него.

Рот этот древней остального лица, отчего, сколько бы Жанне Моро ни было лет, нижняя часть лица всегда на значительный срок опережает верхнюю, а та, медленно, год за годом, стремится будто бы догнать её. Рот Жанны Моро оттягивает лицо Жанны Моро, заставляет щёки присыхать к сухожилиям, утяжеляет веки, отчего глаза, вечно воспалённые, глядят отчаяньем невылупившихся птенцов, чьё убежище раскрыто.

Когда она играет радость, то уголки губ поднимаются с той невероятной лёгкостью, в которую мы желаем и не можем поверить, читая о воскресении из мёртвых или о том, что возможно было бы никогда не стареть и не умирать. Это кажется так просто, что мысль, не видя ни одного сочленения, за которое можно было бы

закрепиться, соскальзывает с шарообразной отшлифованной поверхности и грузными складками сходит на нет, как улыбка, рождённая ртом Жанны Моро.

Жан Эсташ в кинотеатре «Художественный»

Маленькое облако из искрящихся повреждений плёнки возникает на экране и какое-то время преследует персонажей, то проницая одного из них, то переходя на другого. Не замечая его присутствия, герои, однако, словно бы испытывают некоторую неловкость, какой-то зуд перемещения. Крошечные сверкающие дырки, призрак не столь отдалённого будущего. Произведя рекогносцировку, маленькое облако вдруг исчезает бесследно, персонажи, испытав неописуемое облегчение, расходятся в разные стороны.

Останцы-свидетели

Останцы-свидетели: в геологии — столовые горы, остатки бывшего плато.

Накрытые для некоторого ритуального подношения, торжественно и жалобно предлагают небесам свои дары — свидетельства о временах, которых больше нет. То есть самих себя. Как ни скуден стол (с точки зрения столовых гор), в нас он вызывает головокружение и ужас перед падением в небеса. Проклятые прожорливые небеса.

Спокойствие катакомб

Спокойствие катакомб. Какое только могут предложить предметы, в которые привнесён порядок. Как ребёнком посетить каких-нибудь дальних родственников, у которых в доме чистота и всякие занятные вещицы выставлены в шкафу. И кажется, что всю жизнь готов прожить среди этой нерукотворной утвари, со временем (когда к тебе там как следует привыкнут) присоединившись к ней.

Прогулка

Левретка, паукообразная собака. Передвигается споро, как циркач-карлик на ходулях. Или как если бы кто-то пожелал вывести на прогулку анатомический экспонат из школьного кабинета биологии. Но, вообще говоря, следует по возможности избегать сослагательного наклонения.

Инцидент

Хруст, хлюпающий звук. На полу лежал предмет. В нём не было никакого смысла. Сгусток, образовавшийся в месте истечения ярости. С этим сгустком нужно было что-то делать. Как подсказывал рассудок, не прямо сейчас. Спустя некоторое время. Можно было сварить кофе. Синие языки со всех сторон облизывали медь — до тех пор, пока не принудят плотную пену полезть из узкого горлышка джезвы. Но за это небольшое время успеет произойти ещё одно событие, которое придаст ходу вещей совершенно другое направление.

Страх метрополитена

Первобытный страх метрополитена. Для того, чтобы попасть из одного пункта в другой, иной раз практичней спуститься в подземный мир, там давно уже всё для этого обустроено. Иные по дороге забывают о пункте назначения, так там и остаются. Тут теперь им и дом, и работа, и кой-какие развлечение. Их можно вычислить по выражению лица. Хммм, выражению. Встретил тут одного. Лицо его, пляшущее, как десяток молитвенных флажков на ветру. Там ведь всегда ветер, поезд гонит, если подставить руку, можно почувствовать.

Предположение

Ребёнком Л. считал, что если набрать свой телефонный номер, то на том конце другой я возьмёт трубку. Но там всегда было занято. Тогда он догадался, что они с другим собой действуют синхронно. Он берёт трубку и тот берёт. Он идёт гулять — и тот делает то же самое. Эта немудрёная и, в сущности, естественная мысль подействовала на него так возбуждающе, что он схватил со стола вилку и принялся яростно колотить себя по рукам, ногам, животу, весь сморщившись от малоприятных ощущений и еле сдерживая крик. Несколько после, пытаясь объяснить, что побудило его к совершению этого ничем не оправданного поступка, убедился в истинности первоначального предположения.

Ноги колосса

С колоссом же дело обстояло следующим образом: ноги у него были отлиты из чистейшей меди, как и положено, а вот на всё остальное, видимо, не хватило ресурсов. То ли оно было действительно сделано из глины или какого-либо другого малоподходящего для этой цели материала и обрушилось под воздействием времени и осадков, то ли вовсе никогда не было построено — теперь уже никто не может сказать с уверенностью. Как бы то ни было, ноги стояли себе посреди городской площади, приводя прохожих в недоумение. Никто не знал, для чего они, какую идею выражают и как к ним следует относиться. Со временем к ним привыкли и воспринимали как курьёз.

Ночные бабочки

Ночные бабочки летят на свет огня и электрических ламп не от беспечности, а оттого, что принимают его за луну, которую привыкли использовать в качестве маяка. Нечто в них знает, что луна слишком далека, чтобы представлять какую-либо опасность. Можно сказать, что ночных бабочек губит их чрезмерная рассудительность.

Витраж, сделанный из разбитого зеркала

Витраж, сделанный из разбитого зеркала. Он изображает сцену грехопадения, когда первые люди с ужасом глядят друг на друга, обнаружив, что составлены из разрозненных частей своих ещё не родившихся праправнуков. За безуспешной попыткой сложить этот паззл их и застаёт ангел с мечом.

Псевдогермафродиты

Согласно одной легенде, они получаются, когда в материнской утробе один из разнополых близнецов съедает другого. Съеденный брат или сестра продолжают существовать внутри выжившего, пядь за пядью присваивая себе его подросшее и окрепшее тело, пока не отвоюют его окончательно. На таких существ люди смотрят с опаской: никто не может угадать, удовлетворятся ли они достигнутым.

Никифоров и ангелы

Небольшое чердачное помещение, истыканное тонкими иглами света. Дощатый пол частично устлан стекловатой. В правом углу в кучу свалены ангелы. Измятые серые крылья их топорщатся в беспорядке, они шлёпают огромными, как у эмбрионов, веками без ресниц и время от времени говорят: «фрррр». Входит сторож Никифоров. У него в руках алюминиевый таз с водой. Никифоров: «Ах вы бедные, ах вы мои болезные. Вот я вам водицки». Ангелы: «фрррр». Никифоров ставит возле ангелов таз, быстро отдёргивает руки и, крестясь, покидает чердак быстрым шагом. Куча ангелов начинает шевелиться, самые сильные отталкивают других, пробираются к тазу и жадно лакают воду, подоспевшие чуть позже вытягивают длинные цыплячьи шеи, пытаясь протиснуться между ними, слышен гул, клёкот и повторяющийся звук «фррр». Наконец таз звякает и переворачивается.

Бракованные русалки

Бракованные русалки, уже слегка снулые, выставлены для продажи в дощатых ящиках. У них узкие горбатые спины и торчащие лопатки. Личики приплюснутые, носы вздёрнуты, широко посаженые глаза подёрнуты белой плёнкой. Подходит покупатель, щупает русалок за толстенькие хвосты с чешуёй задом наперёд, выбирает одну. Продавец: «вы для еды берёте?». Покупатель (застенчиво): «Нет, для детишек. Пусть учатся любить природу». Продавец сердито бормочет себе под нос: «Природу… развели тут, блять, природу» — и заворачивает русалку в промасленную бумагу. Покупатель осторожно, как младенца, прижимает свёрток с русалкой к груди и, тихонько напевая: «заю моё заю», уходит. Оставшиеся русалки с тоской поводят глазами ему вослед. Продавец хмурит брови и скрюченными нечистыми пальцами делает русалкам козу, приговаривая: «Вот, вишь, природа… уродились на нашу голову… как вот вас, таких, понимать прикажете?», смачно сплёвывает и насвистывает песню про шаланды, полные кефали, безбожно фальшивя.

Старые коммунальные квартиры

Старые коммунальные квартиры с непомерно длинными коридорами и неопределённым количеством комнат. Там жили какие-то полупрозрачные истончившиеся люди, напоминавшие переводные картинки, которые опустили в воду, чтобы отмокли, да так и оставили, на что-то отвлёкшись, и они зависли как бы в невесомости, тщетно ожидая, чтобы их куда-либо прилепили, и только изредка подёргиваясь от сквозняков.

Разнообразные проявления враждебности

А., Б. и С. находились в состоянии взаимной вражды. А. презирал и осуждал Б. и С., полагая себя правым, а их неправыми. Б. также испытывал неприязнь к А. и С., однако же считал, что у А. есть какая-то своя, очевидная и безусловная для него правда, есть она и у С. Но вот этот последний вовсе не занимал свой ум никакими соображениями о собственной и чужой правоте или неправоте, а ненавидел А. и Б. просто по факту их существования.

Истории тотального невезения

У одной женщины не было детей, поэтому она обратилась за помощью к колдунье. Та дала ей волшебное зёрнышко и объяснила, что с ним делать. Женщина поблагодарила колдунью, пошла домой и посадила зёрнышко в цветочный горшок. Через какое-то время из зёрнышка вырос прекрасный тюльпан, а когда он раскрылся, то в чашечке цветка оказалась крошечная девочка. Женщина обрадовалась и стала заботиться о девочке. Но в одно ужасное утро она проснулась и обнаружила, что кроватка девочки исчезла и на её месте остались только мокрые склизкие следы. Женщина расстроилась и пошла обратно к колдунье, чтобы попросить у неё другое зёрнышко. Но колдунья рассердилась и закричала: «Ну какая из тебя мать? Даже за такой малявкой не смогла уследить. Видно, не даром тебе Бог детей не давал. И от меня ты ничего больше не получишь» — и велела женщине убираться прочь. Женщина заплакала, пошла домой и удавилась на своём чулке.

В одном птичнике из яйца вылупился гадкий утёнок. Другие утята и даже взрослые птицы всё время издевались над ним из-за его нелепого облика и неуклюжести, а потом и вовсе выгнали его из птичника. Долго скитался гадкий утёнок, везде встречая одни лишь насмешки

и неприязнь, пока, спустя долгое время, не достиг прекрасного пруда, в котором плавали большие величественные белые птицы. Гадкий утёнок в отчаянье обратился к птицам, моля, чтобы они заклевали его, так как жизнь такого уродца не стоит того, чтобы её продолжать. Но величественные птицы объяснили ему, что он больше не гадкий утёнок, что за время странствий он успел превратиться в прекрасного лебедя, такого же, как они. А потом всё-таки заклевали его и утопили в пруду, потому что они были белые лебеди, а он, как на грех, оказался чёрным, а чёрных в этом пруду не жаловали.

Жила была одна девушка, до того бедная, что всего-то у неё осталось, что несколько медных монеток да доброе сердце в груди. Как-то шла она по лесу в лютую стужу, а навстречу ей нищий старик, просивший подаяние. Девушка отдала ему свои последние гроши и пошла дальше. Через некоторое время она встретила маленького ребёнка, дрожавшего от холода, потому что на нём была одна лишь рубашка. Девушка отдала ребёнку своё платье и пошла дальше. Через некоторое время она встретила ещё одного ребёнка, дрожащего от холода, потому что он был совершенно голый. Девушка отдала ему свою последнюю рубашку и пошла дальше. Через некоторое время ей на встречу показались лесные разбойники. «Ого!», воскликнули лесные разбойники и немедленно схватили её и пустили по кругу, а потом перерезали ей горло и спрятали тело в сугробе, предварительно изуродовав лицо до неузнаваемости, а то мало ли что. И вот в этот момент с неба посыпались новенькие блестящие талеры. И упали прямо на лесных

разбойников. «Ого!», воскликнули лесные разбойники, сегодня им, определённо, фартило. Они собрали небесные талеры, отправились в кабак, чтобы отпраздновать такую удачу, и пировали там целую неделю, пока не пропили все до последнего.

Гензель и Гретль

Гензель и Гретль разламывают большую буханку серого хлеба на две половины и выковыривают мякиш. Они смачивают пальцы слюной и лепят из мякиша фигурки. Гензель лепит Гретль, а Гретль Гензеля. Гретль смотрит на хлебную гретль в руках у Гензеля и вопит от ярости. Гензель смотрит на хлебного гензеля в руках у Гретль и вопит от ярости. Гретль вцепляется Гензелю в волосы и пытается вырвать у него из рук хлебную гретль. Гензель вцепляется в волосы Гретль и пытается вырвать у него из рук хлебного гензеля. Тогда Гретль засовывает себе в рот голову хлебного гензеля и откусывает её, ужасно вращая глазами. Тогда Гензель засовывает себе в рот голову хлебной гретль и откусывает её, ужасно вращая глазами. Голова Гретль отваливается и падает на стол, истекая кровью. Голова Гензеля отваливается и падает на стол, истекая кровью. Тогда хлебная гретль встаёт, пошатывается, шарит по столу и нахлобучивает на себя голову хлебного гензеля. А хлебный гензель встаёт, пошатывается, шарит по столу и нахлобучивает на себя голову хлебной гретль. Они встают друг напротив друга и разглядывают друг друга с нескрываемым любопытством. Кровь, бьющая из настоящих Гензеля и Гретль, между тем продолжает хлестать на поверхность стола. Тогда хлебные гензель и гретль берут одну из пустых горбушек, садятся в неё, как в лодку и начинают плавать по кровавой реке, насвистывая. Конец.

Седьмой

Шесть человек сидят в пещере и ищут друг у друга вшей. Время от времени один из них вскрикивает: «ага!» — и щёлкает вошью. Появляется седьмой. Все бросают занятие и смотрят на него с любопытством. Седьмой движется на ощупь и садится возле остальных. Все смотрят на него и говорят: «ну!». Седьмой говорит: «я ничего не вижу». Все смотрят на него и говорят: «ага!». Седьмой говорит: «мои глаза ещё не привыкли к темноте». Все смотрят на него, говорят: «хе!» — и возвращаются к своему занятию. Седьмой говорит: «кто-нибудь, помогите мне, пока это не прошло». Крайний: «что не прошло?». Седьмой: «слепота». Крайний: «и не пройдёт». Седьмой: «как не пройдёт?». Крайний: «вот так — не пройдёт и всё. Ни у одного из нас не прошла». Седьмой: «что?». Крайний: «мы разве тебя не предупреждали?». Седьмой: «нет». Все: «хе!». Крайний: «ну, мы думали, вдруг у тебя выйдет». Седьмой: «он это что, серьёзно?». Все: «ага!». Седьмой: «и что мне теперь прикажете делать?». Крайний: «садись с нами и ищи вшей». Седьмой чертыхается, какое-то время расхаживает по пещере, бормоча себе под нос проклятья, это не помогает, тогда он садится возле Крайнего и начинает искать у него вшей. Какое-то время водворяются тишина и спокойствие, пока Седьмой не вскрикивает в исступлении: «мать вашу, я не могу их найти!». Конец.

Солопов и жестянка шпрот

Пьяный Солопов, подперев голову кулаками, разговаривает с жестянкой шпрот. Солопов: «Марина, ты меня выслушай… Хоть раз дослушай, что я тебе говорю, Марина…». Жестянка шпрот: «Я Зоя». Солопов: «Что??». Жестянка шпрот: «Я Зоя. По гречески это означает «жизнь». А «Марина» означает…». Солопов (строго): «Ты — консервы!». Жестянка шпрот (горестно): «Да, я — консервы». Солопов в ужасе глядит на жестянку шпрот, потом хватает вилку и начинает поспешно поглощать шпроты, роняя капли масла себе на брюки. Конец.

Масло

Хозяйка вернулась домой, смотрит — в горшке вместо молока масло. «Вот чудеса», подумала хозяйка и понесла масло на рынок продавать. Тут как раз его купила жена рыбака. Принесла жена рыбака масло домой, зовёт мужа и детей обедать, достаёт из печи кашу, и масло на стол поставила. Стали рыбак, жена рыбака и дети рыбака есть кашу и ложками масло черпать. До дна доскребли, смотрят — а там дохлая мышь.

Дверь, за которой ничего не было

Когда первая жена Синей Бороды открыла дверь, которую нельзя было открывать, то там, за этой дверью, ничего особенного не оказалось. Комната как комната. Ему просто хотелось выяснить, можно ли доверять этой даме. Оказалось, что нельзя. После третьей он понял, что женщинам доверять в принципе нельзя, да и незачем. Но к этому моменту его уже затянул сам процесс.

Тиберии и змеи

Как-то утром Тиберий Гракх проснулся и обнаружил в своей постели двух змей, одну мужского, другую женского пола. Все решили, что это дурное предзнаменование, и что если Тиберий убьёт самца, то умрёт сам, а если самку, то умрёт его жена. Поскольку Тиберий сильно любил свою жену, то убил самца и вскоре умер. Эта история сохранилась в веках как пример самопожертвования и супружеской преданности.

Другой Тиберий как-то проснулся и тоже обнаружил в своей постели двух змей. И снова все решили, что это дурное предзнаменование и кто-то из супругов умрёт. Тогда этот другой Тиберий, который терпеть не мог свою жену, убил самку и, действительно, его жена вскоре умерла. Эта история не сохранилась в веках, поскольку была примером трусости и женоненавистничества.

Наконец, третий Тиберий тоже как-то проснулся и нашёл в постели змей. И, опять-таки, все стали говорить, что это дурное предзнаменование и далее по тексту. Тиберий на это ответил, что всё это вздор и глупости и велел вынести обеих змей в сад и там выпустить. И в результате ничего не произошло. Про эту историю вообще никто никогда не узнал.

Тиресий и змеи

Четвёртый Тиберий, которого, впрочем, звали Тиресий и который жил гораздо раньше и в совсем другой стране, также однажды встретил пару змей, совокуплявшихся на лужайке, и, желая избавиться от своей сварливой и привередливой супруги, стукнул змеиную самку палкой. Но вместо того, чтобы похоронить супругу, сам превратился в женщину и прожил в таком виде ровно семь или восемь лет. Впоследствии боги пытали его: «кто получает от соития большее наслаждение, мужчина или женщина?». «Женщина», отвечал Тиресий, «и в девять раз больше». «Разве может наслаждение быть больше или меньше в девять раз? В каких единицах ты его измеришь?», спрашивали боги, на что Тиресий отвечал: «я отвечу на этот вопрос, лишь когда вы ответите мне, каким образом богов может быть несколько, если всякий из них является всемогущим». Тогда разгневанная таким ответом богиня прокляла Тиресия и отняла у него зрение. Другой же из богов, чтобы как-то возместить причинённый Тиресию ущерб, дал ему взамен пророческий дар. Окружив Тиресия, боги спросили: «ну, и что ты видишь там?». «Я вижу, что скоро вы все погибните», отвечал Тиресий. «А что лучше», пытали теперь боги, «видеть телесным оком или прозревать духовным?» «Духовное око видит будущее,

телесное же — лишь настоящее», отвечал Тиресий, «но когда некто видит будущее, то и живет в будущем и выходит, что оно для него является настоящим. Так что я не вижу между этими двумя видами зрения никакого различия». После Тиресий вновь пошёл в лес и опять обнаружил там пару змей. Он ударил палкой самца и вскоре умер.

Теофил и Гиппарх

Терзаемый дикими зверьми, корчился на лужайке Орфей. Проходящие мимо Теофил и Гиппарх засмотрелись на это дело.

— Как ты думаешь, это всё взаправду или же для того, чтобы произвести на нас впечатление? — спросил Теофил.

— Понятия не имею, — ответил Гиппарх, — откуда я могу это выяснить.

— Я так думаю, он хочет произвести на нас впечатление, — глубокомысленно изрёк Теофил.

— А по-моему, он делает это вполне искренне, — равнодушно возразил Гиппарх.

Саркофаг

Вскрытый саркофаг взрывается от соприкосновения содержимого с воздухом, оставляя в руках археолога лишь жмень праха да обрывки одежды. Таким образом, саркофаг до конца исполняет свой долг скрывать ото всех то, что ему поручено. И человеческое тело, вспоротое ножом, обнажившее своё содержимое, не обнаруживает следов души — так хорошо её сберегает. Кажется, тот, кто её туда упрятал, постарался, чтобы она самоуничтожалась в случае полной разгерметизации.

Улыбка

— Так чему, в итоге, она улыбается?

— Ничему. Просто улыбается.

— Но должна же быть какая-то отгадка. Иначе непонятно, с чего весь этот затянувшийся шум.

— Не стоит судить о мыслях модели по изображению, вот к чему весь этот шум. Возьми хоть «Мадонну» Рафаэля. Что выражает её лицо?

— Ну, что оно выражает… Свет, чистую материнскую любовь… Всё такое прочее. Никто никогда не бился над вопросом «что выражает Мадонна Рафаэля».

— А между тем всем известно, что моделью для Мадонны Рафаэля служила дочь простого мельника, до того распутная, что своим неугомонным темпераментом буквально до смерти уходила художника и, не удовлетворившись этим, ещё вдобавок домогалась до всех его учеников, которые, впрочем, с возмущением отвергали её притязания, о чём мы, впрочем, можем судить лишь из их собственных утверждений. И как бы ты, скажи мне, мог бы вывести всё это из одного лишь образа, созданного Рафаэлем?

— Никак.

— Так вот тебе и ответ на твой вопрос: чему она улыбается. Улыбается, потому что знает всё и про Мадонну, и про Рафаэля.

— Но это же всё происходило гораздо позже.

— Какая разница.

Мы назовём вещи чужими именами

Мы назовём вещи чужими именами. Мы встанем и скажем: вещи, не называйтесь впредь своими именами, вот вам другие имена. Пусть они вовсе вам не соответствуют, однако же могут придать вам если не веса, то хоть какого-нибудь достоинства. Если и не в наших глазах, то в чьих-нибудь других. Если вдруг другие придут, то, по меньшей мере, им будет приятно видеть знакомые слова, надписанные на незнакомых вещах.

«Загадочная русская душа»

«Загадочная русская душа». Такие производили в начале 90-х в Большом Колокольничьем переулке, тогда вообще производили много такого, чему сейчас трудно было бы сыскать применение. За какие-нибудь пятьдесят баксов можно было приобрести себе настоящую русскую душу, до того загадочную, что её состав до сих пор в точности никому не известен. Большинство владельцев через пять-шесть лет благополучно избавились от этого громоздкого и совершенно бесполезного в условиях изменившегося мира приобретения. Лишь единицы донашивают и по сей день, точно скрепив таким образом некий договор с потусторонними силами. Никто не верит в бессмертие такой души, да и как вообще можно верить в бессмертие того, что было произведено у тебя на глазах простым присоединением двух электродов в области височных долей и двухсот грамм водки «Столичная» в качестве анестетика. А вот поди ж ты. Иногда их можно встретить в метро. Вид у них потерянный, обыкновенно они стоят, уставившись, как сомнамбулы, в карту метрополитена, которая с тех пор обросла новыми ответвлениями, как старая картофелина ростками, и не могут ничего в ней уразуметь, поскольку пункт назначения никак в ней не отмечен.

Вещи, вышедшие из употребления

Китайские часы-калькуляторы, сразу ломавшиеся, стоило кому-нибудь шутки ради попробовать извлечь корень из отрицательного числа, шестикрылые ангелы-прорицатели с вытаращенными глазами цвета лунного камня, умевшие предсказывать только погоду, громоздкие фотоаппараты, плюющиеся квадратными карточками, на которых изображение медленно возникало, держалось с минуту и после так же медленно исчезало, майки-хамелеоны, реагирующие на чувство страха или сексуального возбуждения, другие часы, которые, когда не показывали время, сами с собой играли в пинбол, или те, в которых жило маленькое животное, которое можно было научить всему, что в голову взбредёт, — словом, каким только вздором не торговали в ту пору в универсальных магазинах.

Пророк

— *Делайте… то, что захотите, то и делайте,* — пробормотал Пророк. Он оказался ужасно лёгким, как горсть абрикосовых косточек, возможно, он и был горсть абрикосовых косточек. Мы схоронили его близ корней Великого Дерева, мы схоронили в корнях какого-то дерева. Вероятно, во всём этом был какой-то смысл, мы сами не можем понять, какой. Мы оглядываемся. Мы думаем — чего же мы хотим-то на самом деле. На самом деле, мы ничего не хотим. Мы вглядываемся в небо. Вдруг там что-то покажется? Вдруг наши чаянья окажутся не пустым ремеслом? Каждый вечер мы зажигаем огни возле Большого Оврага — вдруг это подействует. Обычно оно не действует. Но мы не оставляем наших попыток. Возможно (думаем мы), попытки только и составляют соль нашего существования. Вполне бесплотного и неблагонадёжного в этом смысле. Возможно, смерть — та же соль. Нет, не та. Вот эта.

Вязкость

Начав говорить, увязает в подробностях. Увязывает их между собой, иногда насильственным образом, но чаще по молчаливому согласию, граничащему с полным безразличием. Основная история при этом теряет преимущественное значение и впоследствие отбрасывается. Как деревянный каркас, делающийся ненужным в тот момент, когда положен замковый камень. Или как издохшее животное, которое извлекают из его раковины, чтобы вонь от разлагающегося тела не отпугнула покупателя.

Ветер

Сухой горячий ветер, налетающий порывами. До той поры они лежат, как куча бессмысленных блёклых тряпок, неподвижные, бесчувственные, погружённые как бы в сон без сновидений, с отсутствующим видом, но это не означает, что они и вправду отсутствуют. Просто их присутствие лишено каких бы то ни было свойств. Потом задувает ветер. И вот они, расправившиеся, преобразившиеся, принявшие причудливые формы не то птиц, не то рыб, не то ангелов, вздымаются, наполненные ветром, начинают реять в воздухе, точно какое-то божество вдохнуло в них жизнь, глядите, как они приплясывают, колеблемые потоками горячего воздуха, как плавники их или крылья трепещут, подрагивают, кажется, переговариваются при помощи неких условных сигналов. Вы скажете, что они лишь выглядят одушевлёнными, но, в конечном итоге, всё, что существует, лишь выглядит. Ветер стихнет, и они вновь поникнут и опадут, но, полагая их теперь за куски неживой и бессмысленной материи, вы так же заблуждаетесь, как заблуждались прежде, принимая их за живые существа. Момент соприкосновения ткани и ветра, надувающего ткань, и есть то, что, за неимением лучшего слова, мы будем называть «жизнью».

Девочка, страдавшая глазной болезнью

— Было это так: издалека все предметы являлись ей в натуральную величину, однако по мере приближения к ним становились всё меньше и меньше. Когда она подходила к ним на расстояние вытянутой руки, они были величиной с домашнюю кошку. Если брала какой-нибудь из них в руку, то он был уже с пластиковую игрушку, из тех, что прячут в шоколадных яйцах и дарят детям. А если она пыталась рассмотреть их в деталях и подносила прямо к глазам, то предметы становились до того крохотными, что их невозможно было разглядеть. Иногда она по ошибке вдыхала их вместе с воздухом, и они продолжали существовать где-то там, в носовой полости, блуждая среди волосков и луковиц и раздражая слизистые оболочки. Девочка носила специальные очки с очень толстыми стёклами, которые кое-как могли подправить этот врождённый дефект зрения, хотя они плохо помогали. В один прекрасный день в носу девочки скопилось такое количество инородных тел — животных, людей, предметов, домов, деревьев, — что она стала испытывать невыносимый зуд и жжение и в конце концов чихнула, так что эти предметы разлетелись во все стороны, а девочка всё чихала и чихала, и предметы всё продолжали разлетаться, вот и сейчас, если вы прислушаетесь —

Дом с привидениями

— Как видите, санузел раздельный, трубы давно не меняли, возможно, потребуется ремонт. Вода сначала пойдёт ржавая, подождите несколько минут, пусть стечёт. И, да, по поводу… в общем, по уже упомянутому поводу. Двое стариков, один мальчик лет десяти, кажется, их внук… я не уверена. Больших беспокойств они вам не доставят, не волнуйтесь. И не нужно ждать от них ничего особенного. Они очень тихие и необщительные. Они и при жизни такие были. Никаких чудес и эксцентрических выходок. Предыдущие жильцы спокойно сосуществовали с ними в течение семи лет и выбыли в связи с увеличением семейства. За все эти годы никаких претензий. Вы сами по себе, они сами по себе. Места они не занимают. Пройдёте насквозь и не заметите. Просто я сочла нужным вас предупредить, чтобы всё до конца было известно. Жестокое и бессмысленное преступление. Многие ожидают чего-то этакого… Ничего подобного. Единственное, лучше без домашних животных. Они всё чувствуют и начинают нервничать. А вы — пройдёте насквозь и не заметите.

Ветхость

— И тогда они тянут жребий, и по очерёдности, определяемой этим жребием, выбирают себе следующую жизнь. Те, кто идут первыми по очереди, имеют возможность выбирать ту жизнь, какая им больше по вкусу, те же, кто оказывается в конце, вынуждены довольствоваться тем, что останется.

— Да, но кто, скажи мне, кто определяет изначальный набор имеющихся жизней? Откуда они берутся?

— Ты мне скажи, откуда они берутся.

— Быть может, это те жизни, которые только что были зачаты?

— Совсем наоборот. Это жизни, которые только что были прожиты. Душа, отжив своё, скидывает свою земную жизнь, как ненужную более одежду и, нагая, отправляется дальше. А жизни их остаются, чтобы другие души могли ими воспользоваться.

— Выходит, что те жизни, что предложены на выбор вновь прибывшим душам, уже когда-то были прожиты?

— Вне всякого сомнения, это так.

— Выходит, что и мою, и твою жизнь кто-то прежде прожил уже?

— И это также не подлежит сомнению. Вспомни, бывало ли такое, чтобы тебе казалось, будто видимое тобой уже как будто было когда-то увидено, хотя ты мог бы поклясться, что никогда этого прежде не встречал?

— Да, такое бывало.

— Кем же они были увидены, если не тобой самим?

— Не знаю, право, но, выходит, что кем-то другим. Но, стало быть, жизни, которые нам даны, уже существуют во всей своей целостности, и мы ничего не можем в них изменить по своей воле?

— Пожалуй, что и так. Нередко, однако же, люди стремятся изменить ход, надлежащий их жизни. От этого жизнь ветшает, как изношенная одежда, в ней появляются прорехи и как бы зияющие пустоты.

— И что с ними бывает после?

— Тем, кому они достаются после, бывает в них очень неуютно, а более, пожалуй, и ничего. Вспомни, случалось ли такое, чтобы всё вдруг начинало идти не так, как должно бы происходить, в то время как всё, что ты делаешь, представляется тебе совершенно правильным?

— Да, такое случалось.

— Для этого не было никаких причин, и ты не можешь их отыскать, как ни стараешься? Напрасно было бы искать здесь виновных или подозревать вину за самим собою, поскольку истинная причина происходящего состоит в том, что жизнь, прожитая до этого уже многими и многими душами, истончилась и пришла в негодность.

— Как такое возможно? И куда они идут дальше? Являются ли откуда-нибудь новые жизни?

— В конце все жизни настолько обветшают, что никуда больше не будут годиться. Придёт день, и они закончатся вовсе. Ни одной целой, неизношенной жизни более не останется. Душам, лишённым покровов, некуда будет тогда податься. Они будут скитаться во тьме и пустоте, как дикие животные, и тщетно искать себе хоть какую-нибудь жизнь, чтобы её прожить, и, доведись им найти таковую, будут рвать её друг у друга, как собаки рвут добычу. Теснясь и негодуя, кое-как вместятся они в ней, пока не раздерут в клочья.

Обретение Мессии

Тёмное помещение, маленькие окна, размещённые под самым потолком, дают тусклый и неясный свет. Четыре Мессии восседают по углам и важно курят шмаль. Входит Пятый Мессия. Четыре Мессии вяло смотрят на него, потом отводят глаза, продолжают курить. Пятый, не зная, куда себя деть, садится на пол. Так длится какое-то время. Наконец Третий Мессия делает медленное, явно выверенное движение в сторону Пятого, протягивая косяк.

Пятый: Благодарю. Не употребляю.
Третий: А чо так?
Пятый: Да так, не прёт.

Третий, обиженно отстраняя руку с косяком, садится на месте. Проходит ещё какое-то время. Наконец Второй Мессия, медленно перебирая лапами, подкрадывается к Пятому.

Второй: Ну? Как? Поверили?
Пятый (равнодушно): Более или менее.

Четвёртый (всё это время неявно прислушивавшийся их разговору, из угла): А распяли хоть?

Пятый: (равнодушно): Так, слегка.

Второй: И что теперь там?

Пятый (равнодушно): Да ничо. Всё как было. Те, которые поверили, гнобят тех, которые не поверили. И наоборот.

Второй: А. Ясно.

Четвёртый (злорадно): Ага. Теперь этим, которые не поверили, свой Мессия нужен.

Пятый (равнодушно): Подождут.

Третий (видимо, простив обиду): Четвёртый у нас злопамятный. Весь в Первого.

Второй: А ты теперь чем теперь думаешь заняться?

Пятый (задумчиво): Не знаю. Я всегда собак любил. Собачечек. Можно разводить собак. У вас тут есть собаки?

Четвёртый (обиженно): Так ты меня и разведёшь. Отсоси. (Поворачивается в профиль, отчего особенно чётко очерчивается его пёсья голова).

Пятый (внимательно разглядывая пёсью голову): Прошу меня извинить, я не вас лично имел в виду.

Четвёртый прячет пёсью голову подмышку и с достоинством удаляется. Пятый ещё некоторое время сидит в расслабленной позе, то ли о чём-то задумавшись, то ли просто отдыхая, наконец обращается ко Второму:

Пятый: А вы чем тут занимаетесь?

Второй: Да… мы тут особенно ничем и не занимаемся. Мы уже, вроде как, отстрелялись. Вот, можно было бы собачек разводить. Но Четвёртый против.

Четвёртый (оскорблённым тоном): Только попробуйте!

Пятый: Тёлок, может, снимать? Тёлки тут у вас есть?

Первый (на секунду выйдя из сомнамбулического состояния и оказавшись существом неопределённо-женского пола, огромным, раздувшимся, землисто-серого цвета, с отвисшими до земли гигантскими грудями): Я те щас дам. «Тёлок снимать». Щас тя самого снимем. Во всех ракурсах.

Второй (извиняющимся тоном): Это Великая Мать, её раздражать нельзя.

Пятый (изумлённо): Что, у вас тут что-то ещё запрещено?

Второй: Да не то чтобы запрещено, просто тебе же самому будет хуже. Она, когда не в духе, гаже распятия.

Пятый (удручённо): Чем же вы тут занимаетесь-то, господи…

Второй: Известно чем — Мессию ждём.

Пятый: Вы-то зачем?

Второй: Ну… как зачем… всё какие-то новости.

Пятый, вздыхая, сворачивается в клубочек и засыпает. Остальные вновь возвращаются в свои углы и пялятся оттуда жёлтыми кошачьими глазами, которые слегка мерцают в полутьме.

Карпы

Стеклянный аквариум, заполненный мутной желтоватой жидкостью, взбиваемой потоком кислорода, бегущего из трубки. К боковой стенке льнут четыре, пять, снова четыре розовых рта, поочерёдно раскрывающиеся и закрывающиеся, словно исполняют некий беззвучный хорал. Им тесно в этом прозрачном кирпиче, их чешуи цепляются одна за другую, они жаждут выбраться наружу. К вечеру все рыбы выловлены, выпотрошены и распроданы, пустой аквариум отставлен в сторону. Всё его стекло зацеловано изнутри, точно саркофаг, охраняющий реликвию.

Тетрадка

Вы можете их разглядеть в клубах лиловатой пыли. Вот они вдруг поднимаются, как столбики внезапно взбесившейся ртути. Медленно поворачиваются вокруг своей оси. Сканируют серебристыми глазами-как-Круглая-Башня окружающий ландшафт, в который и вы включены. Потом вновь падают и возникают где-то в совершенно другом месте. Где один, там тут же и второй, иногда третий. А ещё через секунду ни второго, ни первого. Странное ощущение. Разумны ли? Даже слишком, если вы меня правильно понимаете. Скорее всего, неправильно. Это не существенно. Главное, чтобы они вас правильно поняли. Иначе, как бы это сказать, возможны эксцессы. Для них не существует такого понятия, как непроницаемость. Вы вот занимаете какое-то место в пространстве и полагаете, что уж его-то, во всяком случае, не может занять никакое другое физическое тело, за исключением вашего. А они так не считают. Но если это всё-таки произойдёт, не впадайте в панику, просто замрите на некоторое время. Тридцати-сорока секунд им будет достаточно, чтобы полностью переписать вашу память. Да-да, вот так вот, живёшь-живёшь, думаешь, что это бог весть как важно, а в итоге достаточно тридцати секунд. Главное, чтобы ваша душа в этот момент была чиста, как слеза младенца, да-да, как слеза

младенца. В противном случае они могут испугаться и — как бы это помягче выразить — дестабилизируют вас. Не думайте о… лучше всего, вообще ни о чём не думайте. Пусть ни одна низкая мысль не омрачит ваше сознание в этот момент. Попробуйте молиться. Верить не обязательно, просто молитесь. Выберите какую-нибудь красивую молитву, лучше на неизвестном вам языке. Это должно подействовать. Вот вам тетрадка, я тут выписал несколько на всякий случай. Повторяйте утром и вечером, пока не запомните. Им должно понравиться.

В темноте

Сидите и ждите. Говорите вполголоса. Лучше шёпотом. Лучше вообще не говорить. Пока вам не принесут. Не обязательно то, что вы заказали. Хотя возможно. Это стоит учитывать. И не курите. Во всяком случае, не зажигайте огня. Так положено. Когда принесут, съешьте то, что вам принесли. Этого требует этикет. Впрочем, можете и не делать этого. Можете встать и уйти. Можете вообще не приходить. Мы вас предупреждали.

Инсектицид с лимонной отдушкой

Холодно-синий цвет, как в мертвецкой. Для экономии энергии. Кстати, странный запах. Инсектицид, ничего из ряда вон выходящего. С лимонной отдушкой. Но несколько штук продолжают смотреть сверху вниз. Для вас, положим. С их сорока тысяч точек зрения это звучит довольно бессмысленно. Лимонная отдушка, кстати, не для них, лимонная отдушка для вас лично. Чтобы отвлечь, переключить внимание на что-то знакомое. Любое средство массового поражения, будь то даже инсектицид, влияет на свойства всей окружающей среды, включая того, кто его применяет, это общеизвестно. Некоторым образом он перенимает их свойства, не все. А какие? Об этом вы узнаете после, когда лимонная отдушка перестанет действовать. Что же касается этих нескольких штук, то они к этому времени успевают усвоить некоторые из ваших свойств. А какие? Об этом вы узнаете после, когда лимонная отдушка перестанет действовать.

Дождь снаружи

Снаружи дождь. Мелкого помола, почти неощутимый. Люди-полурыбы вдыхают растворённую в воздухе воду, она застревает в волосах, как общедоступное украшение, задарма раздаваемое небом. Кто бы просчитал принцип, согласно которому человеческие косяки то заполняют помещение, то вдруг перемещаются во двор и там распадаются, образуя комбинации разной степени причудливости, то вдруг один запоёт, другой подхватит, забудет слова, опять вспомнит, опять забудет. И снова какой-то не до конца прояснённый импульс тянет их в помещение, то полупустое, то забитое до отказа. Здесь произносят слова. Слушайте внимательно. Это поэзия. А это — нет.

Цветная карамель

Цветная карамель лежит на полу. Это полудрагоценные камни, способные растворяться в слюне без остатка и стекать по пищеводу, передавая телу свойство быть неразрушимым. Хорошо, полуразрушимым. Да, вы правы, это иллюзия. Но знание о том, что это иллюзия, никак не влияет на вкус карамели. Может быть, придаёт ей горьковатый оттенок. В соответствие с рецептурой, утверждённой Министерством Здравоохранения. Те, кто там работают, могут вам разъяснить, для чего так. Мы же ограничимся теперь простой констатацией того факта, что по полу разбросана цветная карамель и ребёнок, ползая на четвереньках, подбирает её языком, пользуясь тем, что остался без присмотра. Это мог быть ваш ребёнок или даже вы сами. Не все животные переставая расти, начинают стареть, есть такие виды, которые, дожив до определённого возраста, снова начинают уменьшаться до состояния эмбриона. Потом всё повторяется. Они не размножаются, их всегда одно и то же число. Странно, правда? Иногда хочется обратиться к природе с вопросом: зачем они? Природа редко отвечает на подобные вопросы, у неё на это нет времени. Она слишком занята, постоянно выдумывая новые виды и уничтожая старые. Мы с вами, в сущности, тоже непонятно зачем нужны. Берите конфетку.

Белка

— А знаете ли вы, что если изловчиться и ухватить обыкновенную лесную белку за хвост, то она дёрнется от испуга и шкурка, непрочно прилаженная к тушке, мигом слезет с неё и останется у вас в руках. Вы удивитесь, как мал на деле оказывается этот зверёк, едва больше домовой мыши, только чуть-чуть меха на кончиках лап и ресницы, которыми он — хлоп-хлоп — мельтешит, точно бабочка. Окровавленная тушка дёргается, точно марионетка, а в глазах стоит ужас и какое-то почти вещественное, осязаемое изумление. Да, именно изумление. В этот момент белка, так сказать, видит себя со стороны, почти как душа могла бы созерцать мёртвое тело, если бы обладала способностью существовать вне его. Какое-то ограниченное, но давно исчисленное время. Каково оно тогда, известное прежде лишь изнутри? А каким предстал бы перед нами наш собственный, овеществлённый и ограниченный ум? Отсюда, быть может, происходит это изумлённое выражение глаз умирающей белки. Но это лишь догадки, стрельба в тёмной комнате, игра ума, неспособного выйти из себя самого — и ничего сверх того.

IV

Улица Свободы

…И воздух, как цемент, моментально схватывал их движения, и мир был создан для того, чтобы помнить о них.

Небо — огромное сухопутное брюхоногое, мерно вдыхающее и выдыхающее. Лёгкие его так велики, что, когда оно делает вдох, кажется, что дышать больше нечем, и охватывает сладковатое головокружение, и красное приливает к темени — и будто бы уже ничего никогда не нужно делать, потому что все движения этого мира уже совершены. Когда оно делает выдох, отпускает, и человек ходит оставленным, и плачет оставленным. Или не плачет, а берёт себе какую-нибудь работу и тупо, как камень, её работает. Растёт или крошится, как придётся.

…Замер и весь стал одна боковая линия. Чуть пошевелится где-то сбоку, и вот уже все предметы переменили блюда, и ему, как всегда, осталось то, с которого уже ели, и следы гигиенической помады на краешке салфетки,

людей стало слишком много, но количество предметов не увеличилось; в этой комнате, до того, как он въехал, жили какие-то другие люди, и один что-то хранил под половицами, другая пырнула квартирную хозяйку крестовой отвёрткой, прочие ничем себя не проявили, что и к лучшему. «Только бы ничем себя не проявить, — подумал, окунув голову в плечи, — выгонят. Рассчитают. Пустят по миру. Отнимут последнее. Догонят и ещё отнимут».

А Артемий Шварц на улице Свободы работает Артемием Шварцем. Отхватил себе завидную долю — говорят ему: ты будь собой, и мы дадим тебе денег. С двенадцати до двадцати тридцати Артемий Шварц бывает собой и получает за это какие-то деньги, после двадцати тридцати идёт домой и бывает — для развлечения! чтобы расслабиться! — кем-то другим. Домом или кактусом. Мало ли кем. Ты не смотри, не смотри на Артемия Шварца, вообще как можно меньше смотри по сторонам. Количество движений, отпущенных каждому позвонку, всякой хрящевой прокладке между позвонками, ограничено согласно вековой смете. Кто много башкой вертит, тот таки довертится — отваливается голова. Он и не смотрит, он и не смотрит. Так, бывает, нет-нет да и посмотрит, и почувствует к Артемию Шварцу непреодолимое отвращение. И отвернётся.

А было ведь по-другому? Было? Было? В летнем лагере собирали клубнику, немолодую и усатую, как еврейка, или как выдался урожайный год и повсюду абрикосы лежали и гнили, прямо на земле превращались в брагу.

По ночам прилетали бражники и бражничали. Кажется, в тот год всё уродилось, и частично съелось, частично выпилось, частично перебродило и ушло в землю, а больше никогда уже такого не было, да и не будет.

Бражник толст, мохнат, как мышь. Как хлопнет, схлопнется и потом валяется на полу ветошкой. Нарочно оставлял окно открытым, приманивал на лампочку, хотя, опять же, комары. Сосали-сосали кровь, оставляли со своей отравленной слюной частички других людей. В какой-то момент показалось, что кровь у всех давно перемешалась и её разливают теперь из одного чана большим медным уполовником. Как бы не так. Сидит и думает: какого цвета кровь у Артемия Шварца? Густая какая-нибудь, не как у людей, прозрачная, как эпоксидка. Пустить бы кровь Артемию Шварцу, посмотреть, какая она, — нет, нет, перестать думать, количество мыслей, отпущенное всякому мозгу согласно бюджету, ограничено, так что если мы теперь подумаем, а потом ещё подумаем, то завтра, может быть, нам и подумать уже не получится, да и что их думать, мысли эти, когда на них следы от чужой гигиенической помады, и герпес, и чёрт знает ещё что можно подцепить, думая эти непонятно чьи мысли.

Вот он, мозг. Лежит, приготовленный, смазанный, соблазнительный, как трюфель. Весь в каких-то жилочках, и ниточках, и изгибцах. Сам себя думает. А что ему ещё думать, когда рук нет, ног нет, головы, собственно, нет, и никаких чувствилищ, в которых могли бы зарождаться всякие чувства. Мозг лежит в трёхлитровой банке

и думает. Скрывал от хозяйки — боялся. Был уже тут такой один — хранил под плинтусом чужие золотые зубы. Как-как вы говорите, Анна Леонидовна, чужие? Так, может быть, свои? Очень можно: когда куда-нибудь в гости собирается, то надевает, чтобы покрасоваться, а дома снимает. И хранит под плинтусом, чтобы не спёрли. Посмотрела косо: трезвый ли? Был уже тут такой один, нетрезвый, под шумок вынес стереоустановку и полное собрание сочинений Герцена. Крепко задумался: откуда у Анны Леонидовны стереоустановка? Она так же мало с ней вяжется, как вся эта нелепая история с чужими зубами со всеобщей историей. Скорее всего, склонный к нездоровым радостям жилец попросту решил исправить эту несостыковочку, восстановив изначальную гармонию. Откинул крышку и вставил мозг на место — сегодня предстояло обдумать одну вещь.

По улицам в то время гонял неопознанный вирус, вызывающий амнезию. Люди забывали всё — свои права, обязанности, планы на будущее и виды на прошлое. Всякий разумный человек старался задокументировать, запротоколировать, сфотографировать своё прошлое и сдать в архив до лучших времён, но квитанции терялись, номера в архиве забывались, всё перепуталось, и у одного вдруг оказывалась двойная жизнь, а у другого никакой. Все находились в панике, все напрягали боковую линию, все некоторое время ходили без имён и без лиц. Артемий Шварц переехал с улицы Свободы и, как рассказывали, удалился в какое-то загородное поместье в обществе приближенных лиц, где они замуровали все входы и выходы и круглые сутки предавались

оргиастическим бесчинствам и изящной словесности. Так, во всяком случае, хотелось думать. Он же завёл себе сейф и прятал мозг, зная, что лучших времён никаких не будет, но, может быть, удастся контрабандой протащить мозг в будущее, где им, на худой конец, смогут воспользоваться потомки. Ключ от сейфа зашил себе под крайнюю плоть.

Явились вдруг две девчушки-студентки, хихикающие и пьяненькие, Алина и Алина, как они утверждали, не могли поделить своё имя. Долго не хотел их впускать — могли занести инфекцию, потом всё-таки открыл, косясь хозяйки, выставил им пачку чёрного чая и хлеб «дарницкий», включил радиоприёмник. Одна, пострашнее и пообтрёпанней, сказала, растягивая слова: «онааа… всё время…всё делает как йа-а-а-а», другая, вращая белками, отговаривала: «не слу-у-ушайте её, не слу-у-у-шайте!». Девушки хотели большой и чистой любви и выяснить, кто из них настоящая Алина, он продемонстрировал им ключ от сейфа и предложил кинуть жребий. Стали искать монетку, но монетки не оказалось, только у одной в кармане джинсов обнаружились какие-то экзотические деньги с дыркой посредине и без существенных отличий аверса и реверса. Так прошли приблизительно сутки.

…Небо, гигантское брюхоногое, шествующее по земле и по водам одинаково равнодушно, втянуло в себя тонны и тонны использованного, дышаного-передышанного инициированного воздуха, нагретого человечьими трахеями, — и замерло. Улицы, очумев, замерли,

как кролики, и только шевелили воспалёнными слезящимися носами. Всё угомонилось и заснуло, где играло, не прибравшись, потому что никто не следил за порядком. Утром он решился-таки выйти на улицу, разведать обстановку. Обстановка была та ещё. Случайный прохожий — с удочкой! С четырьмя блёклыми рыбками в целлофанчике! На мосту в четыре часа утра! — спешил к своей, должно быть, кошчёнке, живым побаловать. Он спросил прохожего:

— Не подскажете, где находится улица Свободы?

— Теперь уже везде, — равнодушно ответил прохожий и прохаживал себе мимо, потрясая мутным пузырём. Он подумал: «нужно будет переписать карту».

Возвращение

Но впоследствии оказалось, что адвокат был прав, а прокурор был неправ, хотя прокурор искренне верил в виновность обвиняемого и исполнял свою работу с неподдельным рвением, а адвокат не верил в невиновность своего подзащитного и выполнял свою работу добросовестно, однако не без отвращения, что не могло не сказаться на мнении присяжных, и с появлением новых доказательств они, хотя и вынуждены были вынести оправдательный приговор, сделали это скрепя сердце, давясь и отплёвываясь, словом, как говорится, «через не хочу». Подсудимый им не нравился.

Выйдя на улицу, подсудимый, который уже не был подсудимым, но, конечно, не был ещё окончательно неподсудным, немедленно почувствовал холод, прошивший его от темени до крестца быстрым машинным зигзагом, и, за неимением перчаток, закурил. Здания, прежде теснившиеся по краям площади на подобающем расстоянии, внезапно шагнули ему навстречу, словно движимые безотчётным порывом, но тут же опомнились и заняли прежние места: он очень давно не курил.

Серенькое навесное небце вяло покручивало кольцами, не двигаясь с места, и время от времени прыскало

студенистой слюной, так что прохожие держали руку на спусковом крючке зонта, но не выстреливали чёрным и цветным, а лишь ускоряли шаг. Он тоже ускорил шаг, не потому что особенно торопился попасть домой, а для тепла. Ни чёрного, ни цветного у него не было.

За поворотом, между церковью и гастрономом, располагался небольшой книжный магазин, он подумал и зашёл в гастроном. Двери съехались за его спиной и снова разъехались, пропуская кого-то ещё. Он долго рассматривал затейливых моллюсков, поглядывающих из стеклянных банок непристойными глазастыми рюшами, взял бутылку «жигулёвского» и, поразмыслив, ещё одну. Банки проводили его долгими, долгими взглядами, неодобрительными, порицающими, какими умеют смотреть только маринады. Маринады-маринады, и вы туда же. На улице, озираясь, сковырнул пробку зубом.

В метрополитене тёплый резиновый ветер пыхнет из-под стеклянной двери, а если зазеваться, то и стеклянной дверью можно огрести. Машинально отметил, что за время его отсутствия надписи «выхода нет» заменили на более обходительные «выход рядом», а других свидетельств течения времени не обнаружил, разве только рекламные щиты сменили рисунок. В долгом и гулком переходе по-прежнему сухая-сухая старушонка торгует сушёными рыжиками, вздетыми на шнурок, женщина в пуховой куртке и с железным зубом всё так же качает грудного младенца, продавцы механических пёсиков пасут себе механических пёсиков, за несколько лет ничего не изменилось. Выходя на улицу, сковырнул пробку зубом.

Дома было темно и сыро, но из-под двери натекла лужица электрического света. Не разуваясь, он зашёл в ванную, сунул руки под горячую воду и так держал, пока они не покраснели и не сморщились. Вытер руки насухо мохнатым полотенцем и с удовлетворением подумал: «чистое». Когда вышел на кухню, его поджидала Наташа.

— Что, вернулся? Рад?

— Нет, — ответил он, включая электрический чайник. — Чему, собственно, я должен радоваться.

Учитель английского оказался в непривычной обстановке

...На кровати, столе, паласе в расслабленных позах полулежали меховые игрушки — зайцы, собаки, коты, удивительно похожие на настоящих, и поглядывали внимательными стеклянными зенками. Приглядевшись, убедился, что это были не столько игрушки, сколько чучела — цельные, плотно набитые шкурки животных. За этим инфернальным великолепием сразу не заметил владельца комнаты, сосредоточенно изучавшего какую-то книжку, напечатанную мелким шрифтом, насколько можно было судить — без картинок. Владелец сам о себе напомнил, вежливо произнеся: «здравствуйте», причём чётко выговорил оба «в».

—Здравствуй, — сказал Ф., преодолевая некоторую неловкость: обращаться на «ты» к такому серьёзному существу представлялось ему не совсем естественным, да и вообще дети внушали ему некоторый страх. «Не дай бог такому понравиться», — подумал он, осторожно потрепав серебристую шкурку попавшегося под руку зверька. Зверёк внезапно отреагировал, мотнув головой и утробно заурчав. Ф. от неожиданности дёрнулся.

— Это Кася, — пришёл на помощь ребёнок, — Кася настоящая.

— А эти, что ли, не настоящие?

— Они неживые, — снисходительно пояснил ребёнок. — Неживые не бывают настоящие.

— Это как сказать, — возразил Ф..

На лице ребёнка возникла гримаса вежливого любопытства. Ф. воодушевился — завязывалась почва для более основательного знакомства.

— Понимаешь, быть неживым и быть не настоящим — это не совсем одно и то же…

— А какая разница? — с простодушным видом поинтересовался ребёнок.

— Ну… — вконец смешался Ф., — ведь когда твоя Кася умрёт, она от этого не перестанет быть настоящей.

— Не умрёт, — твёрдо заявил ребёнок, — зачем ей умирать? Я о ней хорошо забочусь.

— И, тем не менее, рано или поздно это случится, — воодушевился Ф., краем сознания ужасаясь «господи, что я несу? что за бредовый разговор?».

— Тогда… — ребёнок задумался и с подозрением поглядел на кошку, как будто прикидывая, насколько ей можно доверять, — …тогда она тоже ненастоящая. Но я в ней вполне уверен. Я её давно знаю. А вас не знаю совсем. Кстати, вы кто?

— Ах, да, — спохватился Ф., окончательно смутившись, — я Ф., твой учитель английского.

— Так бы сразу и сказали, — с облегчением сказал ребёнок. Видимо, учителя английского и всего остального в его представлении были существами второстепенными и прислушиваться к их мнению по какому бы то ни было вопросу, выходящему за рамки предмета, не имело никакого смысла, — тогда начнём урок.

Зависть

В сердце одного человека жил Бог. По правде сказать, он там влачил довольно жалкое существование, находясь на положении приживальщика. С одной стороны, его присутствие доставляло человеку некоторое удовольствие, ведь предоставляя Богу место в своём сердце, он как бы оказывал ему благодеяние: в конце концов, куда Ему, Богу, ещё деваться? Если человек выгонит, кто Его вообще на порог пустит? С другой стороны, постоянное присутствие Бога раздражало. Создавалось ощущение, что Он всё время подглядывает. Нет, Он никогда не позволял Себе вмешиваться в частную жизнь человека или как-то её комментировать, это было бы уже слишком, — но всё равно было неприятно, что Он всё время тут, всё видит и понимает и, может быть, нет, не явно, а про себя, что-то о нём, человеке, думает. Ведь всегда есть моменты, когда необходимо просто побыть одному. Или, что существенней, не одному. Да просто элементарно помыться. Бог хотя и был тихий, непривередливый, но всё-таки Ему не доставало такта вовремя исчезнуть. Словом, так не могло продолжаться вечно.

Один раз к человеку в гости пришёл воинствующий атеист. Вообще-то это не было чем-то из ряда вон выходящим, большая часть его знакомых либо

придерживалась атеистических воззрений, либо верила во что-то достаточно мутное и невразумительное, в переселение душ например, или в «что ни случись, всё к лучшему» или, наоборот, «к худшему», но этот был уж слишком какой-то воинственный. И вот опять — нет бы Богу как-нибудь стушеваться и исчезнуть, а он как будто нарочно тут как тут. Человек, точно извиняясь, развёл руками, мол, что поделать, живёт Он тут. Так уж исторически сложилось. Воинствующий атеист, изобразив на лице лёгкую брезгливость, выставил перед собой ладонь, дескать, это меня не касается и попрошу меня в это не вмешивать. Разбирайтесь сами. Человек вжал голову в плечи. Ему было неудобно перед воинствующим атеистом за свой слабый характер. Они провели вечер за приятной беседой и распили бутылку крымского портвейна, однако, проводив воинствующего атеиста, человек всё же ощутил некоторый неприятный осадок. Он чувствовал явное превосходство собеседника. Восхищался его силой и мужеством. Твёрдостью его духа. Способностью смело смотреть в лицо небытию. Засыпая, он поймал себя на одной мысли, которую особенно хотелось скрыть от Бога, поэтому он нарочно делал вид, что вовсе эту мысль не думает, а полностью поглощён исчислением овец с целью как можно скорей заснуть, потому что завтра на работу.

И он действительно сумел представить себе овцу. Почему-то совершенно невозможно как следует представить себе овцу и при этом не улыбнуться. Он и улыбнулся. Овца получилась что надо. Тогда он представил себе ещё и загородку, загородка тоже вышла вполне

приемлемая. Он повелел овце: «Прыгай!» — и та послушно перепрыгнула через загородку. Он посчитал: «раз» и начал представлять себе ещё одну овцу, но та, первая, никуда не девалась. Он сказал овце: «теперь уходи!», но та не уходила. Он крепче сжал веки и опять велел овце убираться подобру-поздорову, но она и не подумала исчезнуть. Тогда он плюнул и решил не обращать на неё внимание, а представлять овец дальше. Но эти последующие овцы вели себя не лучше первой: появлялись, перепрыгивали через загородку, а исчезать не желали. В итоге в правой части условного пространства перед закрытыми веками человека скопилась целая пропасть овец, а левая оставалась пустой. Так он промучился с этими овцами полночи, разумеется, не выспался и на работе весь день клевал носом. А потом всё опять наладилось.

Числа

Всё самое главное случается года в четыре. Если очень не повезёт, то раньше.

Ему где-то столько и было. То есть в таком возрасте, который ещё не умеет себя назвать, вернее, не очень этим интересуется, потому что зачем?

Бабушка читает ему стихи из книжки. Она говорит, что пора бы ему уже научиться и читать самому. Но приятно слушать, когда читают голосом. Он думает: если читать самому, то какой должен быть голос? Получается, что никакой. Слова сами должны возникать в голове безо всякого звукового сопровождения. Это бесчеловечно.

Поэтому читает бабушка. Там встречается непонятное слово «гроб». Мать говорит непослушному сыну, что он её своими выходками вгонит в гроб. Он спрашивает: «что такое — гроб?», бабушка отвечает, что когда человек умирает, то его кладут в гроб. Всё становится ещё интересней — что значит «умирает»? Бабушка отвечает, что это когда тебя больше нет. Как это нет? А вот так: как раньше не было, так потом не будет. Эта мысль производит на него ошеломляющее впечатление.

— А что тогда будет?

— Будут другие люди. Я умру, а ты будешь жить дальше. А после тебя — твои дети и внуки.

Этого он не понимает совсем. Как это кто-то может жить вместо другого? Вместо другого можно делать много разных вещей. Например, бабушка может читать вместо него. Потом, рано или поздно, он, конечно, научится и будет читать сам. Но как он может жить вместо бабушки или кто-то вместо него самого? Получается какая-то чепуха.

Бабушка объясняет, что раньше люди верили в бога. Её мама и папа верили в бога. Что после смерти человек не исчезает, а отправляется к богу на небеса. Но потом учёные сделали ракету, полетели в космос и увидели, что никакого бога там нет. Там есть планеты, они вращаются вокруг солнца. И ещё много других солнц, до которых не долетишь, но имеются все основания предполагать, что там всё примерно в том же духе.

Тогда он начинает думать об этом — как всё устроено. Представляет себе, как после него люди будут рождаться, жить и умирать. А его не будет. Как они поживут-поживут и умирают. Это совершенно бессмысленно. Потому что непонятно, зачем.

Бабушка не может как следует ответить на этот вопрос. Она идёт на кухню, потому что нужно варить борщ. Но если всё именно так, то зачем варить борщ? Потому что человек должен есть, чтобы жить,

отвечает бабушка. Она рассказывает, как во время войны в Ленинграде была блокада. Тогда людям совсем нечего было есть и они умирали от голода. Некоторые отдирали обои, чтобы варить суп из клейстера. Или ещё можно было варить кожаную обувь. Всё это было не очень питательно и совсем не вкусно. А ещё люди ели бродячих кошек и собак. Некоторые люди ели других людей, которые уже умерли от голода. Или даже убивали их, чтобы потом съесть. Бабушка в блокаду не умерла, потому что работала воспитательницей в детском саду и их со всеми детьми вывезли на дачу в деревню, там можно было достать еду.

Но всё равно получается, что человек умирает, есть у него еда или нет. А живёт и ест только из упрямства. Самые упрямые доживают до старости, потому что варят борщ и другие кушанья, как бабушка. Она говорит, что пятьдесят лет простояла у плиты. Это очень глупо — пятьдесят лет стоять у плиты и варить борщ, когда знаешь, что всё равно умрёшь. Лучше уж отказаться от борща и умереть сразу.

Когда обед готов, он решает не есть борщ, хотя тот выглядит очень соблазнительно и очень хорошо пахнет. В нём сметана и куски чистейшей говядины, которая, если чуть-чуть надавить ложкой, расслаивается на тонкие коричневые волокна. Сметана жирная и почти не расходится в горячем бульоне, а бульон красный, как кровь. Бабушка сыплет в борщ нарубленную петрушкуи укроп. Но он говорит, что не голоден, хотя это не правда. Ещё как голоден. Но ему интересно посмотреть, как

это — когда человек умирает? Приятно ли это, больно, или вообще никак? И что чувствует человек, когда он уже умер? Совсем-совсем ничего — или всё-таки что-нибудь? Бабушка сердится и говорит: что же, она зря готовила? Ну, разумеется, зря. Если нет никакой разницы, то непонятно, зачем вообще готовить. Он уходит в комнату, ложится на кровать, закрывает глаза и ждёт, когда наступит смерть.

Проходит час, другой, но смерть не наступает. К тому же лежать на кровати с закрытыми глазами очень скучно. Чтобы хоть чем-нибудь себя занять, он начинает считать: один, два, три, добирается до ста, а потом опять становится скучно, потому что всё то же самое. Он переходит на сотни: двести, триста, четыреста, но и эти быстро заканчиваются. Он спрашивает бабушку, что дальше, бабушка сперва не отвечает, потому что всё ещё сердится из-за его каприза, потом снисходит и говорит, что дальше тысячи. А потом? Потом сотни тысяч. А тысяча тысяч бывает? Нет, тысяча тысяч уже называется миллион. После миллионов идут миллиарды, биллионы и ещё большие числа. Они никогда не заканчиваются.

Стало быть, понимает он, заканчивается не всё. Числа, например, не заканчиваются. Они уходят в бесконечность. Он пытается представить себе эту бесконечность, но это у него плохо получается, так что начинает болеть голова. «От голода», говорит бабушка. Но он знает, что не от голода, просто числа, в отличие от людей, бесконечны и не любят, когда смертные люди их думают почём зря. Но если всё-таки исхитриться и их подумать,

тогда станешь одним из них и никогда не умрёшь. Это, по крайней мере, гораздо более вероятно, чем если есть борщ.

Так он думает числа до самого вечера. Он намерен подумать их все до одного, во всю их бесконечность. Тогда он будет всегда и везде. До вечера он их думает, и это уже не так скучно, как поначалу, потому что цена очень уж велика. Но подлые числа сбиваются в кучи, становятся похожими до неразличимости, он путается в них и начинает сначала. Числа надо победить. К тому же к вечеру от голода предательски начинает кружиться голова. Ей становится трудно думать так много чисел сразу.

Всё заканчивается тем, что он решает всё-таки съесть разогретый борщ. Теперь ведь всё изменилось и перестало быть таким бессмысленным: еда поможет ему лучше и качественней думать числа. Он принимается за еду с уверенностью, что рано или поздно он передумает их, все до одного передумает, даже такие, до которых ещё никто не додумывался. Это внушает уверенность и спокойствие.

Визит

…пригнув шею и выставив апоплексическое полнокровное лицо, за которым будто бы скрывался невидимый тореадор, он дышал так быстро и глубоко, словно поставил себе задачей за десять минут прокачать сквозь себя весь воздух, что имелся в этом небольшом помещении. Потом, широко расставляя слова, произнёс:

— Что — тут — происходит?

Все как-то съёжились, даже Ф. стал на пару миллиметров ниже ростом, но, поскольку он сидел, это было не очень заметно. Присутствующие сами не были до конца уверены в своей уместности, поэтому вопрос вошедшего застал их в расплох. В конце концов Р. очухался от неожиданного гипноза и ответил:

— У нас семинар. А что вы, собственно, хотели?

Вошедший не удостоил ответом, а как бы сам для себя утвердил:

— У них — семинар.

И, помедлив с минуту, в течение которой все присутствовавшие чего-то как будто ждали, отступил

в коридор и основательно, беззвучно закрыл за собой дверь.

Присутствовавшие вздохнули с облегчением. То ли от того, что избавились от ненужного вторжения, то ли — как знать — оттого, что этот визит и, что существенней, мирное его разрешение, придал им твёрдость духа. Ф. откашлялся и продолжил —

Поцелуй

…и спустился в вестибюль, чтобы, как обычно, взять свою куртку из гардероба и втихаря покурить за трансформаторной будкой, на что дирекция смотрела сквозь пальцы, поскольку из двух зол — ученика, вечно опаздывающего к началу урока, и ученика курящего — явно предпочитала последнего. Вдруг его внимание приковало скопление учеников, какое-то напряжённое и шевелящееся, словно вокруг пропасти, ведущей неизвестно куда и надолго ли, так ему показалось.

N. приблизился, протиснулся между двумя восьмиклассниками — на голову его выше, но по рангу им полагалось не выпендриваться и пропустить — и увидел странное зрелище: двое девятиклассников, что называется, самая какая ни на есть гопота из тех, что во время уроков, вместо того чтобы учиться или убираться восвояси, часами просиживает свои бесформенные штаны с мотнями до колен и краями — кто знает где? — на банкетках в вестибюле, плюя жвачкой и задирая школьниц, которые им кажутся хорошенькими или странными, слились в долгом поцелуе, а окружающие на это смотрели в безмолвии, отдающем сопереживанием.

Наконец они отлепились друг от друга.

N., растерявшись от неожиданности, обратился к первому попавшемуся подростку из числа стоявших рядом с нелепым вопросом:

— Что это было?

— Поцелуй, — резонно ответил тот и воздержался от дальнейших комментариев. N. взял свою куртку и направился в сторону трансформаторной будки, где долго и тщательно курил, так тщательно и так долго, что на урок всё-таки опоздал и всё время до конца урока пребывал в рассеянности, так что даже заслужил замечание за упущенный минус в задаче, но смысл этого неожиданного coming-out'а остался для него покрытым глубокой тайной

Крот

Маленький зверёк, вылезший из земли. Веки его были плотно приклеены друг к другу и не открывались, даже когда их щекотали соломинкой, лапы с длинными твёрдыми когтями топырились в разные стороны. Зверёк бессмысленно тыкал туповатым рылом в стенки таза и не мог выбраться.

Тогда Митя вспомнил, как дождевой червяк, разрубленный лопатой, обернулся двумя половинками, каждая из которых извивалась и стала как бы особое существо. Он сходил в сарай, взял с новым блестящим черенком и как можно глубже всадил зверьку поперёк спины. Из зверька вырвался сдавленный скрипучий звук и потекло красное. Изнутри выползли мокрые красные кольца. Некоторое время он дёргал лапами, а потом затих. Две половинки тела, скреплённые лоскутком кожи, которую он не смог перебить, были совершенно, совершенно неподвижны и не подавали никаких признаков жизни.

Подошла мать:
— Это крот. Зачем ты убил его?

Он хотел объяснить, что не собирался убивать этого, как она его называет, крота, а только хотел из одного

сделать двух, как тогда, но не мог подобрать нужных слов и расставить их в нужном порядке, и вместо этого разревелся. Потому что ведь этот, как она его называет, крот точно так же вылез из-под земли, и холмик от него остался почти такой же, только побольше, и вообще он думал, что под землёй все такие.

На самом деле их было две

Она двигалась так, словно где-то посередине была надломлена и подклеена пластилином, но не надёжно, непрочно, поэтому всё время боялась, что верхняя половина тела выскочит из пазов и слетит на землю, мокрую землю. И голова её, не как у простых людей, опиралась на крепко сросшийся с основанием черепа атлант, а располагалась на манер куриного яйца в рюмочке с плаката о пользе здорового питания, так вот это выглядело. И все её усилия были целенаправленно устремлены к тому, чтобы не рассыпаться на части, так что на всё остальное уже не оставалось почти ничего. Поэтому она всегда и везде опаздывала и, чтобы этого избежать, нарочно ставила часы на четверть часа вперёд, но всегда держала это в голове, так что у неё было как бы два времени — настоящее и то, которым она пользовалась на самом деле, существуя как будто в предвосхищении.

Она всегда тщательно выбирала, что надеть, какое-нибудь волосатое шевелящееся пальто из шкур искусственных животных, увитые гирляндами кожаных цветов и утыканные стразами сумки, зеркальные туфли с острыми носами и каблуками, только никогда не могла как следует подобрать ко всему этому подходящее лицо — было у неё только одно, лицо пятилет-

него ребёнка, потерявшегося посреди шумной улицы в незнакомом городе, где все вывески и указатели написаны закорючками. Оно всё у неё было в мелкую веснушку, так что, если приблизиться, размывалось, как будто не лицо, а его смазанный след, а если отодвинуться, то опять подбиралось. Она работала в библиотеке, выдавала книги и периодические издания.

Иногда она знакомилась на улице с посторонними мужчинами и занималась с ними обеззараженной любовью в машине или гостинице. Уходя, телефонов и адресов не брала и своего не оставляла. Они ей не очень нравились. Денег, впрочем, никогда не брала, потому что с какой же стати, но вот ей однажды предложили и она так растерялась, что от неожиданности взяла. Выйдя на улицу, прошла в недоумении метров триста до ближайшего подземного перехода и сунула деньги в руку первой попавшейся тётке, христарадничавшей с грудным ребёнком на руках. Тётка поклонилась и сказала: «сохрани тебя господь, доченька», у неё это уже третий ребёнок за полтора года, что она тут стоит, и столько ей за всё это время вряд ли кто давал. А тут же из-под земли, как штопор, вывернулась цыганка и привязалась: «в тебе, говорит, есть божья душа». А она смотрит и не понимает, чего той надо. А та ей своё цыганье вкручивает: «Вижу, было у тебя большое горе, вижу, ждёт тебя за это впереди великое утешение. Дай мне сигаретку, всё расскажу как есть». И уже выхватывает её сжатую ладошку, распечатывает и шарится глазами, как в карманном атласе, где все названия набраны таким тесным и мелким шрифтом, что не разобрать.

И не отвяжешься. А ей и не хочется. За сигаретку очень хочется послушать про божью душу и какое будет великое утешение. Потому что она слышала, будто в первый раз должно везти, как в игре, так всегда происходит, хотя никакого закона для этого нет, и ни смысла, ни логики, просто оно так устроено, как случайное: случается ведь не почему-нибудь, а просто так, в силу какого-то сбоя. Потому что те, кто этим управляет, иногда отвлекаются или делают вид, что отвлекаются, и попускают, чтобы чудесное происходило. Если только сделать вид, что об этом не догадываешься. Но они-то знают, что ты догадываешься и только делаешь вид. И что ты знаешь, что они знают. Но всё равно иногда отвлекаются и попускают. Им и самим так интереснее. И поэтому она достаёт свою тонкую, неземным, сладковатым пахнущую пачку с золотым колечком на целлофановой плёнке и протягивает цыганке, у той глаза тёмные, зрачок почти во всю радужку и от предвкушения расширяется, становится совсем чёрный, будто и не человеческий, и не звериный, а какого-то древнего глиняного, всего искрошившегося от ветхости божества. И берёт не одну, а две сигаретки, пахнущие ванилью и каким-то ещё цветком, и потом ещё одну, и всё это каким-то чудесным образом исчезает у неё под косынкой и в складках этих её непонятных, надетых одна на другую одеяний. Говорит своё обычное, путаное, двусмысленное, обыкновенное, но в своей необыкновенности необычайно для неё притягательное, про большие перемены в жизни, про долгую дорогу, про большого доброго человека. И сигает за пятой сигаретой, шестой узкими пальцами с узелками, как ветки у тополя. В конце концов она утомлена и говорит:

спасибо, мне нужно идти. И отцепляет по одному узловатые пальцы, как застёжки. И идёт быстрым шагом по переходу, сама себе думает: «большие перемены, большие перемены. Тут всегда одна большая перемена, когда один урок закончился, другой ещё не начался, и непонятно, кому всё это нужно». И в конце перехода покупает себе в стеклянном ларьке слойку с черничным джемом и пластмассовый стаканчик чёрного кофе. Кофе невкусный и пахнет собаками.

В присутствие собаки

И вот они глядят друг на друга и примечают, что начинают стариться, чуть-чуть совсем и пока ещё неприметно, и издалека, может быть, и вовсе не разглядеть, и нужно прицельно вглядываться, чтобы отыскать малые происки разрушения, но вот оно уже угнездилось, машинка заработала и медленно, медленно, а после быстрее станет набирать обороты, и непременно в тот момент, когда всё наконец-то вроде бы наладилось, обустроилось, но смерть как будто бы не своя, привычная часть тела, а наподобие вируса занесена из какого-то другого, большего и величиной своей гнетущего мира, потому что ведь человеку она совсем не по размеру, слишком значительное для него, такого своего и привычного, предприятие. Каким-нибудь героям из древнего, клиньями выбитого эпоса пристало, а не нам, простым бессмертным. И нарочно теперь стараются почаще выходить в разные людные места, чтобы с непростым освещением и замысловатыми интерьерами, в каких бывать можно как необязательным в своём записном изяществе предметам. И разрушение там съёживается, скукоживается, старается стушеваться, но потом сумеет освоиться и стать как бы частью общего антуража.

Прежде, раньше у них была собака. И вот ему (кому-то из них, не вспомнить уже, кому именно) снится кошмарное видение: точно он (или кто-то из них, какая разница, если это был какой-то общий предмет обихода) резко дёргает за поводок и голова падает прямо на легко обутую правую ногу, и тёплое, влажное на правой ноге ощущение общее и никому другому не предназначенное. Но это были разные собаки, в детстве, гораздо раньше, чем они познакомились. А тёплое, мокрое, на правой ноге одно и то же. А у них двоих собаки никакой не было, потому что зачем другую. Они были сами себе собака, и вот внезапно оказывается, что исподволь эта собака происходит к старости и разрушению.

Тут можно исхитриться и залезть на такое дерево, с которого это всё как бы уже случилось и, стало быть, уже давно знакомо. Знакомых не боятся, потому что узнают в лицо, или видели на фотографии, или прочитали в какой-нибудь умной книжке и красивой притом, и вроде как всё это уже было. Такое дерево называется гинкго, имеет искусно вырезанный лист и толстый, очень толстый, несколько тысяч лет как толстый ствол, в котором кольца такие тонкие, что в точности разглядеть их число для человеческого глаза невозможно. И видят, что на этом стволе кто-то своевольно вырезал буквы и какие-то ни для кого, кроме него, не значимые цифры, так высоко, что, можно вообразить, гигантского роста, но эта величина иллюзорна, потому что дерево растёт, а люди с годами только уменьшаются, ссыхаются, скрючиваются.

Не то V., этот, как будто объявив войну времени, с годами копится и копится, не уступая времени и капли животного жира, и морщины поэтому на лице его не удерживаются, разглаживаются, и, не взирая на колоссальный вес, он двигается со страшной скоростью, как будто за ним гонятся, и, кажется, уже ему не нужно для этого есть, потому что превратился в гигантский аккумулятор внеземных и враждебных энергий. Но у него нет собаки, нет и не будет собаки, может быть, тело его служит ему собакой или мы знаем, чем ещё?

Мечтательные, движутся организмы, в них мы можем прочитать некую молитву или вызов создателю. Но мысли и порывы, существующие в организмах своим паразитарным полумеханическим существованием, так к ним не идут, точно выпали из какого-то заунывного малобюджетного романа из жизни спирохеты паллиды. И они, друг другу собаки, тщательно сохраняют то место на правой ступне, которое одно лишь их делает уязвимыми.

Голем

Он не помнил, как туда попал. Вроде бы сперва они пили, пили, и произносили какие-то слова. Слова не были призваны что-то сообщить, потому что ведь все, кто там были, всё и так уже знали, что им нужно для успешного осуществления жизненного процесса, а другим интересовались умеренно, отстранённо, не желая ни перенимать эти навыки, ни каким-либо образом к ним отнестись, а так, из любопытства. И так было приблизительно нормально, пока у кого-нибудь действительно не возникнет в чём-либо разительной потребности, но такое, слава ларам, случалось не часто. И это его вполне удовлетворяло, потому что никому не хочется быть предметом чьего-либо слишком пристального внимания, а лишь некоего рассеянного и абстрактного, и, в общем, любой из находящихся там индивидов, мог быть с лёгкостью заменен любым другим находящимся там индивидом без особого ущерба и сожаления.

И вот он ушёл оттуда, как ему казалось, в лёгком подпитии, то есть он чувствовал себя нормально и все члены тела более-менее слушались его, как и положено, до какого-то момента, и просто-напросто вдруг образовался какой-то прорыв, что ли, в восприятии, и тут мы бы могли проставить много прочерков, звёздочек или

каких-либо других условных знаков, которые, как и всё остальное, давно уже стали общими местами, в принципе, как и всё, что мы говорим, но в этой общности и следует искать, может быть, и смысл, и оправдание, коль скоро кому-нибудь понадобилось бы оправдываться, так что с лёгкостью можете вообразить себе, что здесь они есть по умолчанию. Что можно сказать про пустоту, когда ничего нет, если там действительно ничего нет?

И вот в следующей серии он вдруг обнаруживает себя в каком-то совершенно незнакомом интерьере, где стены из щербатого кирпича, пол из бетона и в бетонном полу проделана дырка для отправления естественных надобностей, то бишь для того, чтобы туда срать. И рядом два человека, переговаривающиеся на каком-то непонятном языке с невовремя, с точки зрения человека более или менее европейского, восходящими интонациями. Как будто они всё время о чём-либо спрашивают и друг другу отвечают вопросом на вопрос. И он, с перепоя воображая, что находится в мире непонятных явлений, известных из теленовостей и других сомнительных источников информации, представляет тут же, что находится в зиндане, потому что именно так, с его точки зрения, и должен выглядеть зиндан. Тут мы скажем, что зиндан выглядит немного по-другому, для как бы его успокоения, как если бы мы тут же и присутствовали при нём, и кто-то другой, не мы, но, вероятно, более осведомлённый, вероятно, в этот момент с ним рядом находится, потому что он скоро, минут через мы не знаем в точности сколько, но, с его точки зрения, много,

соображает, что вовсе здесь не зиндан и его персона вряд ли представляет собой нечто, могущее заинтересовать возможных платителей выкупа. Да и окружающие его люди скоро перестают говорить на непонятном языке и начинают, хоть не без греха, говорить на понятном:

«Ты кто?» — спрашивают. И он им приблизительно сообщает, кто он таков. И интересуется, зачем он здесь. Они ему отвечают: « ты лежал на земле, мы тебя подобрали». Он спрашивает: «зачем?». Они мнутся и от заминки очень экспрессивно отвечают, что кабы не они, то кому он вообще сдался. Он возражает в том смысле, что и сам себе не очень-то сдался, а им-то и тем паче. Некоторое время они препираются, причём люди, говорящие на непонятном языке, периодически переходят на свой, не им, но только ему непонятный язык и начинают на нём яростно взаимодействовать. В конце концов, о чём-то договариваются, и один, тот, который моложе, говорит: ладно, ты иди. Он спрашивает: «где я?» и «как мне отсюда выбраться?». Тот, который моложе, говорит: я тебя выведу. И они вместе поднимаются по небольшой цементной лестнице вверх, туда, где он предполагает свет, но там оказываются тьма, фонари и неизвестные строения. Они выходят на улицу, где свет от фонарей и никакого движения. Тот, который моложе, говорит: куда тебе идти? Он отвечает: «домой». Но дом его далеко, пешком не дойти, да и как туда ему дойти, если карта города плутает и сбивается, а метро давно закрыто. Тот, который моложе, говорит: «хотя бы поцелуй меня», и он его целует, но без особого энтузиазма, потому что хочет домой, а не туда, где пол бетонный,

в полу дырка, закрывающаяся на камень, подвешенный на верёвке, и говорят на непонятном. Он целует его, разворачивается и идёт. Идёт, идёт и идёт, долго, в конце концов падает от изнеможения и ложится на газон. Потом дальше прочерки, прочерки и прочерки. Мы уже о них говорили. Потом внезапно его тревожат менты. Они спрашивают, зачем тут спать, на газоне, и откуда он вообще. Он говорит, откуда, показывает документ. Они внимательно изучают документ и признают, что это не их район. Спрашивают: что с ним делать? Он честно признаётся, что сам не знает, что с ним делать. В конце концов, они его отпускают и высаживают в указанном им месте. Место ему не знакомо. Там, как это обычно бывает у нас в летнюю пору, зелень. Он дожидается открытия метро и едет домой, постоянно проезжая ветку во всю длину, но в конце концов добирается туда. Там он спит и после просыпается, думая: «живой. Хорошо».

След серых камней

— Она не любила людей, просто не выносила. Она любила собак. У неё всегда жили эрдель-терьеры — и только эрдель-терьеры. Была художница. Мне рассказывали про её картины — там были серые камни, только серые камни, больше ничего. Но если посмотреть под одним углом, то они выглядят мрачными, тяжёлыми, занимающими всё пространство холста. А если немного под другим, то они были серебристые, как бы пронизанные мерцающим светом. А вместо подписи маленькая стилизованная фигурка эрдель-терьера. Она со мной была в каком-то очень отдалённом родстве, не знаю, никогда её не видел.

— Почему?

— Ну, я же всё-таки отношусь к виду хомо сапиенс сапиенс. В том смысле, что не эрдель-терьер, ей, наверное, было бы со мной не интересно знакомиться. С этого же я и начал — она любила только эрдель-терьеров.

Ничтожество

Лето. Жаркий тяжёлый воздух. Лена и Алёна встречаются, чтобы совершить прогулку. У Лены колечко с золотистым стразом, непростые платья, зато у Алёны есть собственные наручные часы, которые, как она утверждает, мелкими-мелкими циферками показывают температуру воздуха. Лена не верит: она своими глазами видела, что это не цифры, а буквы, крошечная надпись, гласящая: «сделано в СССР». Алёна возмущается и утверждает, что часы ей привезли из Америки. Америка далеко, невозможно проверить. Лена презрительно фыркает: она учит английский в школе и уже кое-что знает. Алёна поёт песню, состоящую из непонятных слов, она утверждает, что знает по-английски. Лена возмущается: она же не идиотка. У них нет ничего общего. Однако у Алёны есть кое-что поинтереснее: маленький джунгарский хомяк. Он бьётся в ладони как чьё-то крошечное мохнатое сердце. Это сближает Лену и Алёну: первая просит подержать, вторая интересничает, но даёт. Получается, что первая будет обладать хомяком не всегда, лишь какое-то время, потом придётся вернуть. И крошечное мохнатое сердечко, побывав частью плоти другого, непонятного существа, приобретёт новые интересные свойства. Лена жалеет Алёну, бабушка рассказала ей, что у той нет отца, а мать где-то далеко. Кроме

того, не следует упускать из виду маленькое мохнатое сердце. Может быть, думает Лена, стоит дать ей каких-нибудь книжек. В этой деревне мало детей её возраста, и они все дикие, деревенские, загорелые. С ними лучше не связываться. Да они и не захотят. Лена и Алёна приближаются к маленькой хозяйской кошке. Кошка ласковая, она этой весной принесла пять разноцветных котят, и они уже немного подросли. Кошка ласковая и имеет имя, то есть почти человек. У хомяка тоже есть имя, какое — Лена забыла. Они решают их познакомить. Может быть, они подружатся, ведь подружились же Лена и Алёна, хотя у них для этого было, признаться, совсем не много оснований.

Лена потом вспоминала: её удивило даже не то, что кошка сожрала хомяка, а то, что она это сделала мгновенно. Они не успели ничего предпринять. Как-то вдруг напрягшись, сгруппировавшись, превратившись словно бы в моток медной проволоки под напряжением, она издавала какое-то металлическое урчание, маленькая электрическая мясорубка. После всего на потемневшей земле остались только печень и почки, нетронутые и аккуратно обсосанные: возможно, хомяк был чем-то болен от человеческого нездорового образа жизни или просто кошка не любила субпродукты. Лена и Алёна стоят, остолбеневшие, как, думает Лена, соляной столб, а Алёна думает просто: как камень. Обе они совсем, совсем ничего не могут поделать и сожалеют о собственной глупости. Им по девять лет, и им хорошо известно о том, что кошки питаются мелкими грызунами, допустим, мышами или, если приведётся, джунгарскими

хомяками. Если называть их всякими именами, то это ничего не изменит. Они просто об этом забыли.

Через несколько дней колечко с золотым стразом куда-то девается. Лена подозревает Алёну, Алёна возмущена. Семьи их ссорятся, та и другая сторона глубоко оскорблены. В свою защиту Лена говорит: «Она всё время крадёт мои слова. Она крадёт мои слова». Старшие говорят: «Может быть, ты просто его потеряла». Лена повторяет: «она крадёт мои слова», как будто не замечая.

Вечером она долго не может заснуть. Душно, и марля, понавешанная на окнах от комаров, еле колышется. Лена сжимает кулаки и беззвучно повторяет: «ничтожество. Ничтожество. Ничтожество».

Одиннадцатый за день

Вошёл, сутулый такой, весь как будто собранный из детского конструктора «Тело человека», причём набор был с брачком, так что коленей и локтей оказалось чуть больше предусмотренного. Проф. Т. вспомнил кстати из Эмпедокла: прежде органы людей и животных существовали сами по себе, как отдельные организмы, а после для каких-то своих целей объединились. Как попало, по принципу случайной комбинации, как же они в итоге оказались на своих местах? А это вот в итоге и начали называть «на своих местах», попривыкнув. Вошедший молодой человек был сотворён точно по Эмпедоклу, во всяком случае, производил именно такое впечатление.

— Рассказывайте. Садитесь.

Молодой человек в точности последовал полученной инструкции, то есть сперва рассказал и только потом уселся на краешек стула, рассказ, впрочем, был недолог:

— Слышу голоса.

Молодой человек на слова был явно скуп, считал, например, что форма глагола избавляет от необходимости употреблять личные местоимения.

— Вот как. Очень интересно. — Профессору было ни разу не интересно. — И что они вам говорят?

— Говорят нехорошее. — Молодой человек был верен себе.

— Потрудитесь объяснить. Что такого нехорошего они вам говорят?

— Говорят, что должен сделать одну вещь.

«Так мы до Страшного суда не закончим», подумал профессор. У него ещё было одно дело, с которым следовало разобраться как можно скорей, и другое, которое срочности не требовало, но было приятным. Он откашлялся, потому что думал, будто это придаёт людям внушительности, а ещё потому, что в горле скопилась мокрота.

— Какую вещь?

— Должен уничтожить одно существо.

— Это уже интересней. Какое существо?

— Неважно какое. Важно, что одно.

— Человеческое?

— Не обязательно. Собаку. Насекомое. Ребёнка. Вас. Себя. Не важно. Любое живое существо.

Тут профессору впервые за день стало интересно. Логика голосов была ему неясна.

— И какой в этом смысл?

Молодой человек из конструктора оживился:

— Стало очень много вещей. Новое появляется, когда старое не успевает умереть. Мир теснится и сплющивается.

— Вот как? я так слышал наоборот — что мир разлетается.

— Разлетается? Чёрта с два он разлетается. Вещи стали тонкими, очень тонкими, сквозь них уже можно видеть. Всё помещается на острие иглы. Там, на острие иглы, может разлетаться сколько угодно.

— И что в этом плохого, разрешите узнать?

— Что плохого? Скажу, что плохого. Воткнут в подушечку для булавок, узнаете, что плохого.

Профессору снова стало скучно. Он взглянул на девственно-чистую карту пациента, машинально отметил его возраст и род занятий и приготовился назначать препарат. Вдруг пациент придвинулся близко-близко, так что стал слышен дух дрянных сигарет непопулярной марки из его рта, клетчатой шерсти, лимонного мыла и бог знает чего ещё, вплоть до съеденной на обед полупереварившейся полукотлеты, и поинтересовался с какой-то детской доверчивостью в голосе:

— А если ничего не получится, кого выбрать?

— Что не получится?

— С этой затеей с лечением. Никогда не доверял. Может не получиться. Кого тогда выбрать? Вы бы кого выбрали?

— А вы их не слушайте, да и всё. Говорят и говорят. Мало ли кто что говорит, вы же не всё делаете.

— Всё, — грустно сказал молодой человек, — всё делаю.

И глаза его, большие, скользкие, с желтоватыми точками, испещрившими синевато-серую радужку, помутнели, как два зеркальца, приложенных к губам спящего.

Наказание

Пока его молодой, красивый, во всех сферах жизни преуспевающий друг спускался в магазинчик в том же доме за фальшивым коньяком «Метакса» (где бы и нам такого раздобыть), Р. не знал куда себя девать, чувствуя свою неловкость тем сильнее, чем больше был уверен, что ни один человек и даже комнатное растение в данный момент не может её наблюдать. Например, собака. Большие и довольно уродливые кожаные тапки, заведённые, подозревал Р., специально для таких, как он, были откровенно велики человеку любого пола и возраста; медведи, что ли, к нему в гости ходят, размышлял Р., негодуя на свой идиотский и сразу какой-то попользованный вид. Пройду-ка я в комнату, решил он в конце концов не без опасения: гипотетические медведи прочно завладели его воображением и даже учредили в нём небольшой бастион и торговую площадь. Вошёл.

— Какой жалкий! — раздался детский голос из угла. Р. вздрогнул: за небольшим детским столом с неубедительно изображённой наборной крышкой, сидела маленькая девочка.

— Это вместо здравствуйте? — не очень-то и оскорбился Р. Он и сам был о себе примерно такого мнения.

— Ненавижу говорить здравствуйте, — сказала девочка.

— Что ты делаешь? — Р. решил сменить тему для разговора. Дети есть дети, подумал он, и ещё что-то всплыло из высокой литературы. И тут же сам себе вынес вердикт: «пошлость какая». Девочка имела перед собой густо исписанную тетрадку и текучую синюю ручку, это была тема для разговора.

— Пишу роман.

— И о чём твой роман?

— Обо всём, что происходит. Сейчас о вас напишу, — и тут же склонилась над тетрадью, непомерно мельча. — Отвернитесь, — приказала девочка, заметив, что Р. щурится, пытаясь разобрать написанное, — люди не должны смотреть, когда на них пишут, иначе получится плохо. Пойдите, что-нибудь поразглядывайте. Какие-нибудь картинки. Видите, на стене. Это Андрея.

В это время за спиной заскрежетало и появился вышеупомянутый Андрей с «метаксой». Накинулся на интересное дитя:

— Ты опять грубишь моим друзьям? я тебя поколочу в конце концов, вот увидишь.

— А я тебя загрызу. Зубами загрызу, — мечтательно отозвалась девочка, не переставая писать. И несколько раз ещё повторила как бы про себя: «Зу-ба-ми. За-гры-зу. Ан-дре-я. Я.». Ей явно вкусно было произносить эти звуки.

— И не зови меня по имени хотя бы при посторонних. Зови меня «папа», как все дети.

— Они же не зовут тебя так.

— Потому что они мне не дети.

— Я тоже не ребёнок. Не ребёнок, не ребёнок.

— Ты не ребёнок, а наказание.

— «Наказание», — с удовольствием повторила девочка. Это слово ей, кажется, понравилось ещё больше предыдущих. — Я Наказание. — и немедленно записала в тетрадке.

— Пошли отсюда, — сказал Андрей, — выпьем спокойно, подальше от этого наказанья.

— Алкоголик! — выкрикнуло наказание.

— Дождёшься! — отозвался алкоголик. Они двинулись на кухню. Р. мельком успел глянуть в тетрадку, ничего не сумел разобрать в тонких корябках, только отдельно, округлыми приувеличенными буквами выглядывало: «и воткнул ему в спину толстый нож».

— Что ж ты такая кровожадная? — спросил Р.

— Подсматривать не хорошо, — ответило наказание, — и потом будет неинтересно.

— Что будет неинтересно?

— Как закончится этот день. Когда знаешь, как закончится день, то и жить незачем.

— А ты что, знаешь, как закончится?

— Знаю. Вы напились как свиньи. Как две грязные свиньи. Потом вы подрались из-за какой-то ерунды, которую мне отсюда плохо видно. И один из вас убил другого. Только я тебе не скажу, кто именно, а то будет совсем неинтересно.

— Ты всё придумала, — сказал Р., руки и ноги у него сделались немного холодными.

— Я всё придумала, — повторило наказание, продолжая писать, Р. смог разобрать: «я всё придумала».

— Ты очень быстро пишешь для своего возраста, — заметил он. Наказание самодовольно просияло:

— Конечно, мне приходится быстро писать. Иначе я опоздаю и всё произойдёт не так, как должно произойти. А вы меня отвлекаете. Уходите. У вас ещё есть немного времени, а то я сделаю ошибку и могут быть последствия.

Р. растерянно заковылял на кухню. Там был уже открыт фальшивый коньяк «Метакса» и даже разрезано яблоко. Приметил и нож с широким толстым лезвием, причём содрогнулся и немедленно устыдился.

— Не обращай внимание, — сказал Андрей, — её предсказания никогда не сбываются, — она просто нарочно пугает людей. Я её побью когда-нибудь.

— Да я и не боюсь, — соврал Р.

— У всех дети как дети, — сокрушался Андрей. — А у меня эта ненормальная.

— Да ничего, — соврал Р.. — может быть и хуже.

И они под коньяк и яблоко принялись обсуждать других детей, детей-олигофренов, например, как у Семёнова, или детей с детским церебральным параличом, как у троюродной сестры Р., или детей, которые постоянно воруют всякие предметы, как у одного мужика, я не помню, как его зовут, он был на дне рождения у Ирины, с усами такой, да что с усами, мало, что ли, там мужиков

с усами было, ну, у того они такие особенно унылые какие-то. Или ещё бывают дети, которые таскают домой всякую мелкую живность, от которой потом фиг избавишься.

Ребёнок из города Т.

Ребёнок из города Т. На занятиях слушал внимательно, точно радист, боящийся упустить малейший знак шифрованного сообщения, после не мог повторить ничего, кроме, разве что, первой фразы, казалось, сам процесс выслушивания поглощал всё его внимание. До него избегали дотрагиваться: мог ни с того, ни с сего наградить разрядом статического электричества, таким свойством обладали его бесцветные, слабо завивавшиеся волосы. Говорил мало и как будто всякий раз сверял выстраиваемую фразу с какой-то из пяти-шести затверженных схем, подставляя те или иные слова по обстоятельствам и вовсе ими не интересуясь. На нём всегда было надето три-четыре свитера, когда другие после перемены издавали сладчайший неприличный зверьковый запах, почти ещё одинаковый у мальчиков и девочек, запах, который — и в этом была его главная ошибка — ребёнок из города Т. издавать не умел. Как будто волна от взрыва, сквозь кожу добравшаяся до его желез, их изувечила, разучив говорить на понятном языке.

Однажды прошёл слух, что в семье ребёнка из города Т. родился другой ребёнок. Одноклассницы, прежде ребёнка из города Т. презиравшие, потянулись в его квартиру, влекомые неким инстинктом, естественно

обострённым в период роста молочных желез и оволосения телесных пазух. Показалось, что в стандартной квартире стандартной шестнадцатиэтажки необычно низкие потолки. Возле дверного косяка притулился паук и сосредоточенно сосал третьеводняшнее какое-то незадачливое насекомое, хмуро взирая на вновьприбывших двумя рядами чёрно-жёлтых несъедобных глазок. Пол, покрытый тусклым линолеумом, имитирующим неизвестно что, там и сям вздымался, точно внизу, между половицами, происходили не то военные действия, не то тектонические смещения. Ребёнок из города Т. держал на руках другого ребёнка, уже, стало быть, не из города Т., а из нашего, держал как батон хлеба. Времена были те ещё, и батон хлеба можно было приобрести лишь предъявив паспорт. Именно эта дикая мысль и пришла тогда в голову Л. и показалась настолько дурацкой, что осталась там на десять, двенадцать лет в качестве необязательного сувенира: «Как это ему продали хлеб, когда паспорта-то ему по возрасту не полагается?».

V

Несколько вещей оттуда

Они были небольшого размера, все умещались на раскрытой ладони взрослого человека. На вид неброские: одна — что-то вроде глиняной юлы, другая — узкий кожаный ремешок, завязанный в узлы, продолговатые, словно бы косточки каких-то плодов. Видно было, что те, кто их изготовил, не старались произвести приятного впечатления или кого-либо искусить.

— Ну как? — поинтересовался Т., прежде чем изъять вещицы и спрятать их в особый ящичек.

— Да особо никак, — ответил Р., ссыпая культовые предметы, за незаконное обладание которыми кое-где кое-когда запросто могли и убить, — не представляю, чтобы это в принципе могло работать.

— А между тем они и сейчас работают.

И Т. начал рассказывать. По мере того как действие повествования развивалось, взгляд Р. становился всё более осмысленным, как если бы ему вдруг предложили какую-то исключительно выгодную сделку. В некоторый момент он даже чуть было не стукнул кулаком

по столу, но сдержался и не стал. Внезапно их прервали. Резкий звонок в дверь, напоминавший крик какой-то птицы, какие здесь не водятся. Т. извинился и вышел.

Так получилось, что Р. некоторое время оставался один на один с загадочными предметами, которые по прежнему лежали в ящичке и молчали. Он осторожно потянулся и взял один, кося глазом в прихожую, несколько секунд подержал его с сосредоточенным видом, после чего быстро положил предмет на место. К моменту возвращения Т. он уже сидел в прежней позе, скрестив руки на груди и, казалось, скучал.

— Ну вот, на чём бишь это я остановился?

— Дай-ка мне взглянуть ещё раз, — попросил Р..

— Нет, — сказал Т., — теперь это может быть опасно. — и поспешил убрать ящичек. — Я бы сам дорого заплатил за то, чтобы никогда этого не знать. Да, пожалуй, в этом их главная ценность и состоит — никто не хочет всего этого знать, тем, которые знают, они приносят муку, соль, всё, что у них есть, лишь бы только они им никогда этого не рассказывали и не показывали. Когда я им предложил забрать эти штуковины с собой, они мне только что руки не целовали.

Расследование

— Стало быть, вы в тот момент полагали себя орудием в руках божьих?

— *Предметом, только предметом.*

— Объяснитесь.

Глаза его, до этого момента плоские и тусклые, как у сонного карпа, тут же как бы из невидимой пипетки наполнились переливающейся жидкостью:

— Вы знаете не хуже меня, что повреждения делят на нанесённые при помощи оружия, орудия или предмета. Орудие — это слишком много, это что-то специально изготовленное для произведения некоторой работы, чем *Он* постоянно пользуется, иногда не по назначению. А предмет — это то, что просто в нужный момент попалось *Ему* под руку. Во всех остальных случаях *Он* ни для чего его не использует, просто так получилось.

Орудие с любопытством разглядывало предмет, не забывая при этом делать соответствующие пометки.

Случай

Я сидел в прихожей, курил и размышлял о бренности мира. Я всё время о ней размышляю. Сквозь приоткрытую дверь стенного шкафа выглядывала шуба из уличных собак, изображавших лису. Мерзкая лживая шуба. Кусок полы и пуговица. Вдруг я заметил, что пуговица мне подмигнула. Я моментально сфокусировал взгляд прямо на ней. Но пуговица больше не подмигивала. Тогда я перевёл взгляд в сторону, боковым зрением, однако, продолжая следить за пуговицей. Пуговица, должно быть, учуяла этот манёвр и снова больше не подмигивала. Тогда я вновь в упор посмотрел на пуговицу, желая вызвать её на откровенный поединок. Пуговица, видимо забоявшись, не подмигивала. Тогда я соскучился с пуговицей и начал смотреть на сапоги, стоявшие особо от прочего хлама. Сапоги сидели рядом, как зайцы, чуть-чуть отворотив друг от друга носы, точно слегка поссорились, но молнии их были дружелюбно приоткрыты. Всунуть в них, что ли, ноги и пойти куда-нибудь. Я всунул в них ноги и пошёл. Например, купить молока и пива. На улице были снег и слякоть. Кроме того, на лестничной клетке мне встретилась крышка от гроба и два человека с похоронной внешностью. Когда я вышел на улицу, то обнаружилось, что у всех встреченных мною людей была такая внешность. В ближайшем магазине

я пристроился в крошечную очередь и, не выдержав, спросил, по какому поводу у всех такой вид. «Вы что, телевизор не смотрите», — укорил меня человек, покупавший сыр и корнишоны. «Не смотрю, — ответил я, — у меня нет телевизора». «Так купите», — назидательно порекомендовал человек и возмущённо расплатился за сыр и корнишоны. Я зашагал домой, неся молоко и пиво и размышляя, что это всё приключилось из-за проклятой пуговицы и тут-то —

Вкус к приключениям

Вкус к приключениям. Неожиданно в нём открылся вкус к приключениям. Как перед человеком, чьи представления о вкусе до сих пор ограничивались «сладким», «кислым», «горьким» и «солёным», и вдруг к ним путём неожиданной смены фокуса прибавилось «хрустящее».

В это время на кухне происходило следующее: мужчина и женщина сидели за столом и ели суп с хлебом. Оба очень старые, почти неразличимые, так время раздавило их лица в мелкую трещинку, после неряшливо подклеило, так что нельзя уж было наливать в них воду, а лишь использовать для чего-нибудь сухого. Они почти одновременно опускали мелкие ложки, зачерпывали жижу, доносили до рта и там, во рту, начиналась серия удивительных превращений пищи, целый ряд трансформаций, во время которых еда смешивалась со слюной, проталкивалась по пищеводу, после её жгли кислотами и щелочами, всасывали крошечными сосочками, испытывали желчью. Казалось невероятным, что в этих старых негодных телах могла осуществляться столь сложная алхимия. Р. проникся уважением к пожилой супружеской паре, чьи тела, более не способные производить пламя и превращаться в нематериальные светящиеся объекты, не рассыпались тотчас в прах,

а продолжали своё трудное и полезное существование. Даже воздух, проделав путь сквозь их лёгкие, казался обогащённым некими особыми, полезными для человеческого здоровья элементами. Им было уютно дышать, как в детстве бывает приятно потереться щекой об изнанку чужого, пахучего, гостящего на праздник пальто. После пальто залезало на хозяина, подбирало курчавые каракулевые уши и уходило по своим делам, под шелковистой подкладкой сохранялись копейка и аэрофлотская карамелька «барбарис».

На улице продавали маленьких жутких механических зверей. Они возились в лотке, как котята или щенки, карабкались друг на друга, издавали странные и пугающие звуки. Один каким-то образом вылез и чесал теперь по асфальту в сторону входа в метро, чудом избегая участи быть раздавленным спешащими по своим делам прохожими. Вид у него был сосредоточенный, точно он обдумывал какую-то серьёзную проблему и в настоящий момент находится в полушаге до открытия, что всё есть вода. Внезапно властным жестом продавца был водворён на место и, ничего не заметив, продолжал рассуждать:

«…возьмём свойства снега. Снег тёплый и сладкий. Снег способен поглощать звук. Всякую зиму он берётся из окружающих предметов и после в них возвращается, не претерпев при этом существенных трансформаций…»

Снег действительно, впрочем, выпал и тут же был дочиста подъеден слякотью.

Летучие собаки

И, конечно, хотелось писать рассказ про человека, в течение нескольких лет дожидавшегося смерти своей престарелой матери, чтобы в освободившейся комнате поселить стаю летучих собак.

Летучие собаки — нечто вроде летучих мышей, только вместо непристойной кожистой розы-локатора у них вполне — чуть не сказал «человеческие», нет, не человеческие, но к человеческому быту за тысячи лет более пригнанные, — как говорят желающие подделаться под детскую речь, собачинские морды. Больше, чем собак, напоминают мышей, в то время как летучие мыши ни мышей, ни что-либо другое не напоминают, но раз уж так повелось. Собаки подходили под этот расклад как нельзя лучше, удачней, чем, например, те же мыши или хамелеоны, о которых было задумано изначально. Воображалось, как человек этот заходит в комнату, осторожно, чтобы не внести в жизнь летучих собак нежелательного для них переполоха, оглядывает мохнатый шевелящийся потолок, может быть, иногда позволяет себе вмешаться в слишком жаркую драку нескольких благородных экземпляров. Логика повествования требовала какой-нибудь интриги — к чёрту интригу и логику повествований: персонаж был так хорош,

что ему прощалось и бездействие, и полное отсутствие инициатив (кроме этого самого прожекта — развести летучих собак — у него, кажется, не было вовсе никаких желаний), и явное равнодушие к своему создателю (точно весь свой небольшой запал он разом истратил на единственное в его жизни серьёзное решение — развести летучих собак и вдруг иссяк, обесцветился, истончился до невозможности, утратив какие бы то ни было свойства). Весь остальной — кроме стаи летучих собак — мир не просто оказался за скобками, его как будто враз не стало, все попытки повторить в упрощённом виде его рисунок на примере общества летучих собак потерпели крах. Вот как обстояло: человек был сам по себе, а летучие собаки сами по себе, хотя зависели от него, о том не подозревая, ибо именно на человека легла обязанность снабжать их сухофруктами и свежей водой, но собаки-то об этом не знали, с их точки зрения эти материальные блага были неотъемлемой частью обстановки и разумелись сами собой. Человек, в свою очередь, немного зависел от собак, но не умер бы без них, надо полагать. То есть он знал, но не умер бы. А те умерли бы, но не знали. И этот добровольный жест человека в какой-то степени искупался его безответственностью — коль скоро он знал, что не вечен и, нескоро после его смерти, летучим собакам придётся за ним же когда-нибудь последовать, как бы сопроводив шумом своих крыл его путешествие в небытие — сказали бы мы, если бы логика повествования не чуждалась всякой выспренности, всякого аллегорического содержания или, верней, изгоняла его с той же основательностью, с которой мы столкнулись в другом произведении того же автора, где

речь шла о хорошенькой девочке лет двенадцати, столь же хорошенькой, сколь заносчивой (хотя у неё для этого было довольно мало оснований), так вот, ткань её платья, вернее, это платье прежде носила её тётя, и оно так сильно вышло из моды за двадцать пять лет, что все давно забыли, что такие когда-то носили, так что платье это выглядело не столько старомодным, сколько вообще непонятно откуда произошедшим, путём, вполне возможно, противоестественным, например, такие платья будут носить в будущем или уже сейчас носят где-нибудь на другой планете — да, так вот, ткань теперь принадлежавшего ей платья имела в себе зеленовато-золотую нить, так что на свету сошла бы за блестящую — тусклым интригующим блеском. И глаза её начинали отливать зелёным золотом, подстраиваясь под тон ткани или, может быть, независимо от него. И это своё своеобразие хорошенькая девочка вполне осознаёт, и в разговорах с людьми как бы о чём-то умалчивает, что она из будущего, например, или из какого-то другого, им недоступного настоящего, потому что, во-первых, это лишило бы её особь той особенной ценности, которую она за собой полагала, ведь оказалось бы, что там все такие и носят такие платья, а во-вторых, она сама о своём таком странном происхождении имела очень приблизительное представление, то есть, грубо говоря, понятия не имела, откуда она вся такая взялась, с какой, так сказать, луны свалилась, и, стало быть, можно было, не солгав, умалчивать о том, чего она и так не знала. Идёт эта девочка в лес, потому что не любит ходить в школу и регулярно прогуливает занятия, а там её убивают и насилуют (или наоборот, насилуют и убивают?), и оставшиеся две

трети повествования занимает обстоятельное описание разложения её тела, превращения тканей тела и одежды, изменение окраса, вкуса и запаха, разнообразные взаимодействия с почвой, которая, то увлажнённая дождями, то подсушенная июльской жарой, постоянно меняет консистенцию, то густеет, то рассыпается наподобие свежего творога, то, наподобие теста, приподнимается, кишит насекомыми и прочими орудиями. Один раз совсем рядом оказывается молодая девушка, углубившаяся как можно сильней в чащу, дабы её молодой человек не уследил за естественными отправлениями её организма, но девушка эта слишком поглощена своим нехитрым занятием и смотрит, преимущественно, под ноги, чтобы не замочить кончиков туфель, так что изрядно уже разложившегося тела не замечает. А это могло бы составить некоторое приключение и внести в их с молодым человеком взаимодействие требуемую небольшую нотку драматизма. Потому что не каждый день при таких квазиромантических обстоятельствах находишь чей-нибудь труп. Но, впрочем, об упущенной ею возможности молодая девушка так никогда и не узнала и, следовательно, сожалеть о ней не могла. А её молодой человек и подавно. Таким образом тело никто никогда не нашёл — впрочем, финал остаётся открытым и, следовательно, позволяет читателю по своему выбору полагать, что его когда-нибудь всё-таки найдут, либо, если ему так больше нравится, не найдут. А если найдут, то опознают или не опознают? И это, согласитесь, находится под вопросом, ведь всё зависит от того, сколько времени пройдёт — год или тридцать лет? Но мы не можем отнимать у читателя столько времени своими рассуждениями,

тридцать лет — это очень много. Через тридцать лет уже не будет иметь никакого значения, найдут тело девочки или не найдут, потому что, если через год, через три года ещё можно надеяться, то через тридцать лет это утрачивает всякий смысл. Ведь воображая, что девочку всё-таки не убили, а, например, увезли далеко-далеко — всё равно не имело бы смысл надеяться на то, что вернётся именно девочка, а потеряли-то, в конце концов, именно её. Так что шанс опознать её сохранился бы лишь в том случае, если бы девочка была мёртвой и сохраняла прежние размеры. Но никто-никто не желает, чтобы ему предъявили мёртвую девочку, таким образом, в том и другом случае ищущий остаётся ни с чем. И разговор вроде бы вертится вокруг предмета, выбывшего из обихода.

История про Б.

Или эта история про Б., который, находясь в тяжёлом запое и несколько недель хаотично перемещаясь по городу и ночуя у каких-то своих друзей, знакомых, малознакомых и вовсе незнакомых, в один прекрасный день проснулся в чужой квартире возле совершенно неизвестной ему абсолютно мёртвой женщины. Б. тогда постарался как можно скорей выбраться из этого кошмарного места и от ужаса впал в вовсе уж беспробудное пьянство, так что не мог потом с уверенностью утверждать, было ли это на самом деле или попросту привиделось ему в алкогольном делирии. Его потом никогда не беспокоили ни по этому, ни по иному сходному поводу.

Несколько раз я подступал к этой истории, так и этак пытаясь изложить её в письменном виде, но неизменно наталкивался на сопротивление. История всякий раз в процессе рассказывания теряла всякое правдоподобие. Любая деталь, призванная придать повествованию требуемую достоверность, выдавала рассказчика с головой. Стоило упомянуть о том, что в этой квартире находилась маленькая белая кошка, в голове немедленно вспыхивало: чушь! не могло там быть маленькой белой кошки. Но что-нибудь же там должно было быть,

какие-то предметы меблировки, стол, стул, наконец, проснулся ли он на кровати или на полу? Тщетно: любая подробность влекла за собой другие подробности, а те — третьи, как бы призванные подтвердить то, что безуспешно пытались втолковать предыдущие подробности, и эта их круговая порука свидетельствовала против рассказчика больше, чем нелепость какой-нибудь одной, отдельно взятой. И если бы рассказчик взялся вдруг отсечь лишние в пользу какой-нибудь одной, то эта одна тотчас повисала в своей неуместности, так что опять ничего не получалось.

Вероятно, эту историю можно было рассказывать единственно тем образом, которым мы в итоге и воспользовались. Ибо именно в таком виде, то есть схематичном и лишённом всякого правдоподобия, она только и могла быть рассказана. В противном случае Б., вероятно, почёл бы за благо от греха подальше вовсе о ней умолчать.

Стакан

— Он чистый.

— Нет, не чистый.

А и А’ на кухне препирались из-за стакана. Вся посуда была грязная, пить было не из чего, даже чай. А, пристально разглядывая стакан на просвет, произнёс:

— Чистый, как слеза ребёнка.

А’, которому было не видно, потому что он стоял против света, недоверчиво потребовал:

— Дай сюда.

Изъял из рук А стакан, поднёс к глазам, долго скептически изучал его, после чего со всего размаху грохнул об пол и изрёк:

— Ну вот, ни одного чистого стакана в доме. Теперь.

Это подействовало. А. горестно вздохнул и принялся мыть посуду. Вдруг зазвонил телефон. Хотя почему «вдруг»? Просто зазвонил телефон. А мы перенесёмся на несколько сот километров от места действия, в тихое помещение, устроенное таким образом, что каждый находящийся в нём человек считается несуществующим на протяжении всего времени, которое он там проводит. Многие пользовались помещением в экстренных случаях своей жизни, и это всегда помогало. Сидит там человек и точно знает, что никто его не ищет, никакой

гроб на колёсиках за ним не рыскает по улице, городу, континенту, у кого как. Комната пользовалась большим спросом, на неё стояли в очереди. Многие проводили там месяца и охотно провели бы хоть всю оставшуюся жизнь. Так вот и А'', в нужную минуту воспользовавшись комнатой, чувствовал там себя в полной безопасности, предаваясь всяким безобидным развлечениям, какие доступны человеку в полной изоляции. Вдруг зазвонил телефон. Вот теперь уже действительно вдруг. Нахождение в убежище не предполагало никаких проявлений интереса от обитателей внешнего мира. А'' занервничал и сперва чуть не взял трубку, после подумал, что брать трубку было бы глупо, ведь тем самым он признал бы своё существование, и не взял трубку, после чего всё-таки её взял. С той стороны были шумы и шорохи, как в триллере. А'' решил ничего не говорить и подождать, что будет дальше. Трубка продолжала шуметь и шипеть. А'' занервничал ещё больше. Время шло, и уже совсем было решился повесить трубку на рычаг, как вдруг передумал и просто положил её рядом с телефоном. Пусть полежит. Почему-то ему было спокойней, когда он думал, что она там шуршит себе и шипит, потому что пока она шуршала и шипела, он мог себя ощущать в относительной безопасности.

Гроб на колёсиках

Эту страшилку знают все, но далеко не все знают о том, что это была лишь часть глобального проекта, коснувшегося многих людей. Полина С., девяти лет от роду, включила радио, пока мать была на работе, а подружка, с которой они договорились встретиться, чтобы вместе сделать домашнее задание, а на самом деле просто поболтать, померить мамины клипсы, поиграть в лошадку и орла, короче говоря, что называется, побеситься, задерживалась. Радио зашипело, захрипело, и девочка покрутила ручку, чтобы поточней его настроить. Внезапно радио заговорило глухим, нарочито механическим голосом: «Девочка-девочка, выключи радио, гроб на колёсиках нашёл твой город и ищет твой район». Девочка испугалась и выключила радио. Тут раздался звонок в дверь. Девочка испугалась ещё больше и не хотела открывать, но это была всего лишь подружка. В конце концов, она открыла дверь, и они вместе с подружкой начали обсуждать эту историю. Подружка не верила. Тогда девочка набралась смелости и снова включила радио. Радио зашипело, захрипело, и снова заговорило: «Девочка-девочка, выключи радио, гроб на колёсиках нашёл твой район и ищет твою улицу». Подружка поверила, и они обе начали бояться ещё сильней. Меж тем дело шло к вечеру, сумерки сгущались, за

окном начал падать (нет, это уже лишнее). Девочки сидели на кровати, поджав ноги, тесно прижавшись друг к другу, и боялись. Им было хорошо и уютно так сидеть и бояться, они даже ещё один раз встали и включили радио, которое сообщило, что гроб на колёсиках нашёл улицу и ищет дом, а потом выключили радио из розетки, вышли на лестничную клетку и выкинули его в мусоропровод. Теперь они чувствовали себя ещё лучше: гроб на колёсиках был ровно на таком расстоянии, которое требовалось. Когда мать вернулась, они сказали ей, что радио задымилось и испортилось.

Следующая часть истории произошла на далёком адриатическом побережье, в то самое время, когда море и воздух имеют примерно одну температуру, так что люди залезают в воду, чтобы погреться. Гладкие каменные плиты, все в замысловатых трещинах, то просторно располагались одна подле другой, то ложились ступенями, то вдруг обрывались полукругом, образуя нечто вроде каменной кладки, словно вода взялась подражать делам людей и преуспела в этом. Иногда на плитах возлежали люди, голые, лоснящиеся от масла, наподобие тюленей, подставляя свои немолодые грузные тела мокрому воздуху со следами солнца и соли. В и В’ карабкались по плитам, разглядывая ноздреватые выемки, оставленные водой: иногда попадались крабьи клешни, жёлтые или оранжевые, хрупкие, отдающие гнилой рыбой, от этого запаха кружилась голова и слюна становилась горькой.

— Ещё одна! — В’ с триумфом продемонстрировал находку. Эта была одиннадцатая по счёту. — Что, если

бог существует и посылает человеку крабьи клешни и другие радости, а человек их подбирает и думает, что так и должно быть?

— Мне он ни одной пока не послал, — отозвался В.

— В этом случае человек поступает неучтиво, я думаю, — развивал свою мысль В'.

Они продолжали шествовать вдоль берега, глядя то под ноги, то на море: солнце чуть-чуть изменило положение, плиты сменились крупной галькой, между гальками шныряли маленькие чёрные пауки-охотники, так что казалось, что камни постоянно шевелятся.

— Вот, и мне наконец послал, — сказал В.

В общей сложности их оказалось четырнадцать, девять правых и всего четыре левых. «Значит, крабы тоже правши», — ошибочно думал В'.

«Главное, не поддаваться панике»

«Главное, не поддаваться панике», — думал он, глядя, как вертолёт падает в лес недалеко от дома, а потом рыжее и чёрное облако медленно поднимается и растёт, точно цветок или дерево. Сама эта мысль была откуда-то не оттуда, из тех, что не рождаются в голове, а попадают туда наподобие вирусной инфекции. Подумав об инфекции, и вовсе проснулся.

— Надо же, какой неприятный сон, — подумал он вслух, на этот раз по доброй воле.

Это могло оказаться знаком (в его семье постоянно видели подобные сны перед тем, как кто-нибудь умрёт, но иногда ничего не случалось, поэтому их называли не вещими, а гипотетическими). Он встал, накинул халат, произвёл ряд необязательных гигиенических процедур, ещё раз подумал: «главное, не поддаваться панике», но с совершенно другой интонацией, и решил в этот день никуда из дома не выходить. Вдруг зазвонил телефон —

Корм для домашних собак делают из бездомных собак

Во всяком случае, так делалось раньше. Был проведён ряд исследований, целью которых было выявить те патологические изменения, которые возникают в организме и влияют на когнитивные функции и поведение домашних животных, постоянно питавшихся кормом, произведённом на основе мясокостной муки, изготовленной из отловленных диких животных того же вида. Результаты этих исследований заставили учёных всерьёз задуматься, однако программа была прикрыта по настоянию фирм-производителей собачьего корма, говорят, руководитель проекта был найден задушенным в собственной ванной. Судя по всему, было за что. Мы никогда об этом не узнаем. Мы смотрим на нашего пса, вскормленного по неведению измельчённой плотью его собратьев, с тайным ужасом и надеждой. Возможно, это уже не пёс, во всяком случае, не то, что мы привыкли называть псом. Возможно, то, что мы привыкли называть псом, тоже уже давно не пёс. Мы привыкли к тому, что собаки умеют улыбаться, но чему они улыбаются — об этом никто не задумывается. Нам хочется думать, что они улыбаются нам. Но, возможно, за их улыбкой скрывается нечто совсем иное. В ней есть одновременно что-то трогательное и удовлетворённое, так выглядел бы Кронос, если бы он выглядел. Задушен в собственной ванной. Подумайте об этом.

Некоторые личные вещи Клауса Кински

Например, «Некоторые личные вещи Клауса Кински». Хорошее название для романа, который не только не хочется писать, но самая возможность которого внушает резкое чувство отвращения. Кстати, отвращение во многом экстатическое чувство. Человек может раз или два, много четыре раза в жизни испытать настоящее, ничем не подкрашенное отвращение, это как бы изнанка религиозного обращения, доступная даже существу, целиком и полностью выкл. из любого типа повествования. Оно существует как бы на кончиках пальцев, и любой, кому когда-либо случилось причислить себя к лику тех, которым, докажет вам, что именно там ему, экстатическому религиозному переживанию, и положено место. Когда говорят об ангелах, прячут лицо за рукавом, и даже рукав краснеет от стыда, хоть бы ему это вовсе и не было под силу в его естественном рукотворном состоянии. Но тогда и рукав краснеет от стыда, мы это повторим. Впоследствии эта резкость размывается под воздействием эрозии и перестаёт доставлять человеку, испытывающему чувство отвращения, какое бы то ни было удовольствие.

Фата-Моргана

Фата-Моргана являет собой один из наиболее отчётливых примеров т.н. simulacra, бесконечного отражения облика удалённого предмета о воздух. До определённой степени любое изображение приходит к нам с задержкой и перестаёт соответствовать наличной действительности, но это не должно нас смущать: коль скоро между этими задержками существует некоторая взаимная согласованность, то и «настоящим» временем мы полагаем нечто, уже слегка устаревшее и от этого сделавшееся пригодным к употреблению. Предмет, существующий здесь-и-сейчас как таковой, настолько чудовищен, что мы просто-напросто лишены возможности его воспринимать, поскольку такое восприятие разом выжгло бы все наши чувства. Поэтому единственный доступный человеческому существу способ сообщения с реальностью — это фата-моргана. Чем больше временной зазор, тем меньшим достоинством наделяем мы предмет, с которым имеем дело. Ведь велика вероятность, что за этот срок предмет успел разрушиться и теперь не существует вовсе. Вольности, которые мы допускаем при общении с миражами, превосходят наиболее смелые наши ожидания, когда мы вглядываемся в тень или отражение. Так только и можно судить о наших истинных намерениях: в конце концов, мираж есть мираж, вещество, растворяющее лицо. Поэтому подавляющему большинству людей миражи внушают страх.

Кошки

Маленькая, кое-как прибранная комната. Скудная меблировка, незастеленная кровать в углу, на подзеркальном столике склянки со всякими снадобьями, в воздухе запах лекарств и ещё чего-то такого, чем всегда пахнет в жилищах стариков. На полу расположились Кошка-Мать и Котёнок-Подросток, играющий с пойманным мышонком. То отпустит, то снова прижмёт лапами. Это занятие доставляет ему видимое удовольствие.

Кошка-Мать: Хорошо, теперь придуши его.

Котёнок-Подросток: Зачем? Он забавный. Давай оставим его себе.

К.-М. (терпеливо): Ты должен научиться это делать. Иначе как ты выживешь в дикой природе?

К.-П. (осторожно): Нас же кормят каждый день.

К.-М. (сердито): Да что с того? Ты не должен забывать, что ты дикое животное, а не мягкая игрушка. Игрушку хотят из тебя сделать. Гляди, подрастёшь — яйца тебе отрежут.

К.-П. (с любопытством): А зачем?

К.-М. (устало): Зачем-зачем. Станешь большой — узнаешь, зачем. Давай-ка, пока что, придуши его.

Котёнок-подросток осторожно прикусывает мышонку шею, отчего тот истошно пищит, затем ослабляет хватку.

К.-М. (вкрадчиво): Это только в первый раз убивать тяжело и неприятно. Тебе кажется, что ты и твоя жертва — одно. Тебе передаётся её страх, её отчаянье, её надежда. Она заражает тебя своим желанием жить и этим парализует, ты не можешь отделить себя от неё. Тебе кажется, что, лишив её жизни, ты сам погибнешь. Но это лишь поначалу. Со временем ты понимаешь, что убивать вовсе не тяжело и неприятно, а, напротив, легко и сладостно. Следить за тем, как угасает взгляд жертвы, чувствовать, как отлетает её последний вздох. Думать о том, что ты — последняя вещь, которую она увидит в своей жизни.

Котёнок-подросток, заслушавшись, ещё чуть-чуть ослабляет хватку и мышонок, воспользовавшись заминкой, утекает прочь.

К.-М. (рассвирепев): Идиот, опять уши развесил. Так ты вообще никогда ничему не научишься.

К.-П. (обиженно): И что с того? Придёт хозяин и покормит нас.

К.-М. (в бешенстве): Не называй его хозяином, сколько раз тебе повторять. Мы свободные хищники. Не самые крупные и не самые сильные, зато независимые. Это у собак хозяева. Ты что — собака? Отвечай, ты собака?

К.-П. (гордо): Я не собака.

К.-М.: А я вот смотрю, что всё-таки собака. Хозяина ему, видишь ли. А что будет, когда он сдохнет, твой хозяин? А? Он уже старый, еле держится. На ладан дышит. Вот-вот в ящик сыграет. Что тогда будет, а?

К.-П. (задумчиво): Тогда, наверное, мы будем последними вещами, которые он увидит в своей жизни…

Кошка-Мать вздыхает и, более не удостаивая Котёнка-Подростка внимания, перемещается на постель, сворачивается клубочком и застывает в этой позе, слегка посапывая. Затемнение. В следующем действии комната еле освещена, в ней царит лёгкий беспорядок в виде перевёрнутого стула и осколков чашки, стоит сильный смрад, мёртвый хозяин лежит на полу, раскинув руки, это грузный старик со вздувшимся побуревшим лицом. Кошка-Мать и Котёнок-Подросток, успевший превратиться во взрослого кота, сидят подле тела и обгрызают его щёки и подбородок со сладострастным урчанием. Конец.

Копия Лизы Аронофски

— А вы кто? — спросила девушка в прозрачных туфлях. «Да я вообще никто», — хотел ответить, но не ответил молодой человек с лишаями. Вместо этого он как можно более нечленораздельно пробормотал своё имя, как будто бы его тоже наполовину скосил лишай. — А я копия Лизы Аронофски, — дружелюбно произнесла девушка в прозрачных туфлях. — Что значит «копия»? — оторопел молодой человек. — Вы что, из клуба двойников? — Нет, — отвечала девушка в прозрачных туфлях, — вы меня не так поняли. Я копия. Лиза Аронофски погибла в автокатастрофе четыре года назад, и её безутешные родственники обратились в исследовательский центр, и там из остатков мизинца Лизы Аронофски взяли генетический материал и вырастили из него меня. Я выгляжу, как Лиза Аронофски, разговариваю, как Лиза Аронофски, делаю всё, как Лиза Аронофски. — Так, значит, вы и есть Лиза Аронофски, — предположил молодой человек с лишаями. — Нет, — ответила девушка в прозрачных туфлях, — я не могу быть Лизой Аронофски, потому что она умерла, когда меня ещё и на свете-то не было. Я всего лишь копия. Моё присутствие напоминает родственникам и знакомым Лизы Аронофски о том, какая она была. А у меня и имени-то своего нет. «И у меня нет, — хотел сказать молодой человек

с лишаями, — моё присутствие никому ни о чём не напоминает», но вместо этого предложил: — Пошлите их к чёрту. Зачем вам это нужно? Живите сами по себе. — Не могу, — грустно сказала девушка в прозрачных туфлях. — Я экспериментальное существо и являюсь собственностью института. Кроме того, я не хочу их огорчать. Они замечательные. А Лиза Аронофски была тоже замечательным человеком. Я рада, что являюсь именно её копией. Некоторым повезло меньше. Они оказываются копиями разных неприятных людей: государственных преступников, сумасшедших учёных и музыкантов. Они очень страдают. Но поделать ничего не могут: с них теперь такой же спрос, как с оригиналов, а почёта никакого. Словом, это не так уж плохо — быть копией хорошего человека, его все любят, тебе тоже что-то достаётся.

В этот момент объявили, что посадка на рейс, задержанный в связи с непогодой на два часа, начинается, и девушка в прозрачных туфлях, извинившись, упорхнула. Молодой человек с лишаями в эту ночь никуда не полетел.

Аори

Аори — это еда. Нет, аори — это род занятий. Каждый год в день взятия Бастилии жители этого острова сжигают все волосы на своём теле, не исключая даже ресницы.

Можно поступить следующим образом: спать не по восемь (или столько, сколько вам требуется) часов раз в сутки, а, допустим, два раза по четыре. Это самый простой вариант. Важно, чтобы это вошло в привычку.

Или у неё были очень крупные черты лица и тела, или, что вероятней, ему было мало лет, но если вдуматься, то их было две, стало быть, всё-таки у неё были, по крайней мере, достаточно крупные черты. Она говорила. Другая говорила тоже, но это не так сильно бросалось в глаза. Сперва ему казалось, что вежливо будет отводить глаза, или, вернее, в нас иногда просыпается неуместная зависть к чужой болезни, каждому человеку желательно иметь хотя бы одну хроническую болезнь, это как паспорт. Её звали — нет, не скажем, как её звали. Стоит нам назвать её по имени — и она тут же наплетёт нам такого — причём, даже не важно, каким именем мы её назовём, она про всякое имя наплетёт. Но если мы уже научились спать по четыре часа два раза в сутки, то нам всё равно: мы её вообще никак не будем называть.

Но как, в таком случае, отличить её от той, второй? Можно, конечно, извернуться и ту, вторую, называть не «она», а «он». Это не так уж существенно, хотя в глаза бросается. Но мы уже назвали «он» другое действующее лицо, и тогда опять возникнет путаница. Может, тогда того, первого «он» переименовать, например, в «я»? Но это закроет нам всегда необходимый запасной выход, ведь всегда в повествовании может случиться какая-то такая несуразность, которую без «я» будет довольно трудно развернуть.

Вот они передвигаются, великолепные, как статуи. Кто хоть раз видел, как движутся статуи, знает: их ноги всегда остаются неподвижными. Вот проходят из буфета в фойе: одна в юбке с хвостами и кистями, другая в замшевой кепке. Наверное, на них ещё что-то было надето, не шли же они из буфета в фойе совсем без ничего, кроме юбки и кепки. С другой стороны, я не очень уверен, что они шли именно в этом направлении, то есть не из фойе в буфет. Им навстречу шёл третий, о котором трудно решить, он это или она, в глаза не бросалось. Одна нога у третьего не сгибалась, потому что в левой штанине у него находилась табличка с надписью «3-й ярус». На голове помещалась фетровая шляпа неопределённого рода занятий.

Вообразим себе помещение: длинное, поперёк себя уже раза в три, оно отгорожено от остального пространства тощей фанерной перегородкой, отчего это самое остальное пространство стало непривычно квадратным. Как-то неуместно квадратным, как будто вечно

перед кем-то извинялось за оттяпанный закуток. Вдоль, поперёк и по диагонали закутка натянуты нити, на одной из них подвешен грандиозный жестяной «кирпич». Это место для личного собрания: вся стена усеяна табличками, большими и маленькими, с названиями улиц, номерами домов, особый интерес вызывала фанерная вывеска в форме стрелы с надписью «БЛИННАЯ».

Первый год он приходит с большой папкой, вручную оклеенной моющимися финскими обоями при помощи мутно-серого скотча. Поверхность папки пупырчата, на красно-коричневом фоне выпуклые желтоватые цветы, смахивающие на капусту. К концу года папка исчезает. Тем, кто спрашивает о её судьбе, он отвечает: «надоело таскать». По сути, это правда.

Вход в помещение не воспрещён, но и не приветствуется. В него словно бы врезан замок при отсутствующей двери. Квадратность остаточного пространства постоянно отсылает к дверному проёму, заставляет оборачиваться. Иногда из-за перегородки слышится гудение голосов, звуки передвигаемых предметов.

Детская игра: дом в доме, комната в комнате, соразмерное внутри несоразмерного. Что-то заставляет детей снова и снова строить себе жилище внутри жилища, вызывая невидимый дождь и ветер под потолком. В десять лет он воображает себе собственное тело самодвижущимся автономным домом, помещая где-то под сводами черепных костей мерно раскачивающийся фонарик: там, под фонариком, склонился над листом бумаги

неведомый собеседник, в случае тоски или сомнения в чём-либо можно с ним заговорить. Ответы его лаконичны и всегда неожиданны. Листок за листком собеседник покрывает быстрыми схематичными рисунками — по крайней мере, так можно судить по его движениям, потому что результат никогда не показывается. Это раскадровка будущего кинофильма, который он, если повезёт, увидит ночью.

Обе фигуры представляются ему грандиозными: тяжёлые тазобедренные кости, огромные чаши, подбитые взрослой плотью, переполненные взрослыми недугами, кажется, что они всегда по пояс в воде, и этот балласт позволяет им сохранять устойчивость и маневренность: их надводные движения легки и насмешливы. Сперва он их путает или, скорее, воспринимает как две части одного подвижного механизма: даже их фамилии различаются только на одну букву. Он цепляется за это различие, как за прореху в трикотажной вязи, в надежде, что оно поползёт дальше и позволит, в конце концов, отличить одну от другой и тем самым обезопасить себя: по отдельности они перестанут внушать ему какой-то муторный древний ужас.

Если попытаться в двух словах рассказать историю человеческого растения, то это история перегонки пространства в длительность. Где-то до шести лет он мыслит при помощи телесных движений, одно из которых — речь, напряжение связок. То есть до того момента, когда он осознаёт существование прямой перспективы. Ему кажется, что, удаляясь, предметы стремительно

уменьшаются, и можно, протянув руку, схватить крохотный автомобильчик двумя пальцами. Иногда это удаётся. Где-то до шести лет он прозрачен, сквозь него можно ходить. Один раз он играет в своей комнате: резиновые звери, машинки, несколько больших пластмассовых кукол, принадлежащих старшей сестре. Берёт их в руки, разглядывает: ему нравятся глаза, выпуклые, с полупрозрачными радужками и тёмными зрачками. Если положить куклу навзничь, густо нарезанные пластмассовые ресницы опускаются. Такими глазами она может видеть. Но уши и губы приносят разочарование: крошечная раковина просто отпечатана в пластмассе, между пухлыми раскрашенными губами нет никакого зазора. Зато зазоры обнаруживаются в самых неподходящих местах, там, где прикрепляются руки и ноги, если стянуть с кукол плюшевые одёжки. Он берёт со спинки стула тонкий ремешок из поддельной лакированной кожи и хлещет кукол по гладким пластмассовым спинам: может быть, у них прорежется голос. Куклы молчат. Он не уверен в том, что они вообще что-нибудь чувствуют: на спинах не видно никаких следов. Тогда он идёт к подзеркальной тумбочке, где мать держит свои краски для лица, сгребает в горсть синие глазные тени, румяна, помаду. После каждого удара он рисует на теле куклы синяк или красную полосу: теперь он уверен, они почувствовали. Куклы молчат. Он переворачивает их, заглядывает в пластмассовые глаза: невозмутимы. Тогда он достаёт из ящика стола моток с нитками и вешает кукол на дверных ручках. Они покачиваются и продолжают смотреть. Приходит отец, видит повешенных кукол, начинает кричать. Грозится избить его, если ещё когда-нибудь увидит что-то подобное.

Он не хочет, чтобы его избили и изобретает бестелесное мышление.

Есть лица, которые выставляют вперёд себя заграждающимся жестом, как ладонь, и ещё лица, сжатые в кулак от гнева или бессилия, или вот лицо, протянутое за подаянием: кто-то положил в него пуговицу непростую, с перламутровой раковинкой, или что-то такое, и вот оно в недоумении: что это — дар? Насмешка?

Она говорит: да, мы ещё не определились с тем, как их различать, а это очень просто — начинать следует всегда с носа. В некоторых случаях этого бывает достаточно и можно закончить носом же. Этот был крупный, немного взгорбленный, с глубокими симметричными вдавлинами на кончике, плотно прижатыми ноздрями. Сразу видно, что он очень привязан к своей владелице и только по этой причине всегда остаётся на её лице и не уходит куда-нибудь жить самостоятельно. Если поманить его каким-нибудь привлекательным запахом — пижмой, растёртой между пальцами, полынью или чёрным шоколадом, то он немедленно оживляется, шевелится, раздувает и снова сжимает ноздри, как жеребёнок, вытягивая за собой всё остальное лицо. Всегда следует носить в кармане две-три коробочки, в которых хранятся запахи.

Она говорит всегда как будто не с тобой. Сперва это странно, неловко, всякий раз ты испытываешь мучительное желание оглянуться — не стоит ли у тебя за плечом кто-то, к кому она обращается на самом деле. Иногда

желание побеждает: ты оборачиваешься. За спиной никого нет. Вас вообще всего двое в этой комнате, не господу же богу она хочет отвести глаза, не настолько же она простодушна. Почему не с тобой? Это сразу видно: всё, что она говорит, или, по крайности, две трети — не правда, но и не ложь, если понимать под ложью сознательное желание ввести собеседника в заблуждение. Часто несовпадения оказываются чересчур нарочитыми, демонстративно пренебрегающими всем, что вам известно о ней и об устройстве мира в целом. Ты произносишь две или три фразы и, даже не глядя, можешь быть уверен: в это время она смотрит тебе в рот, совершенно буквально, точно имеет способность видеть слова и тут же, на глазок, оценивать по весу, внушительности и плотности. Тут всё ясно: она ловец слов. Вот попалось одно, остановившее её внимание: это может быть любое слово — «шёлк», «гипофиз», «отстранённость» — у неё спутанный, непредсказуемый вкус — и теперь внимательно следите за её носом: горбинка напряглась, ноздри на секунду расширились и словно втянули в себя глянувшееся слово. Теперь она говорит. Больше всего это напоминает плетение кружев на коклюшках, где слово собеседника — булавка, необходимая точка опоры, на которой держится речь, но которую после вынимают безо всякого ущерба. Поищите потом себя в этом узоре — нипочём не найдёте, а, между тем, вы твёрдо знаете, что ваше присутствие совершенно необходимо. До какой степени важно, чтобы это было именно ваше присутствие — другой вопрос. У неё много булавок: она хранит их в особом коробке и носит с собой, как вы носите запахи, вытаскивает ту или другую по мере

необходимости, и вы никогда не знаете, когда понадобитесь ей в следующий раз: вы ведь не видите всего узора целиком. Иногда ему хочется причинить ей какую-нибудь боль, вытащить булавку, насильно приколоть взгляд через плечо к своему лицу. Тогда она плачет, как дитя. Видно, какие у неё детские щёки и губы, вовсе не идущие к носу и глубоким подглазным впадинам, точно она специально их подбирала по принципу несхожести. Он чувствует себя чёрствым неприятным насекомым, прекращает попытки добыть из неё человеческих слов и утешает её.

Очень плохо, хуже некуда

Когда мне было лет десять, я каждую неделю покупал себе из карманных денег газету «Скандалы» и прочитывал её от корки до корки. Это была жёлтая газетёнка, не содержавшая ни слова правды, чем мне и нравилась. Правда была повсюду и не содержала в себе ничего притягательного, а только отравляла жизнь. Стояло начало девяностых, в свободной продаже не было ни хлеба, ни яиц, ни сахара, ни школьных тетрадей, начало девяностых стояло себе и стояло, не желая никуда двигаться. Мне было десять лет, с чего я начал, и воображение моё жаждало непристойных или же леденящих кровь историй, на которые газета «Скандалы» была щедра как никто другой.

В одном номере целая страница была отведена под рассказ о двух девушках-лесбиянках, живущих в отдалённом маленьком городе, одна из которых была вампиром. Её подруга, поскольку была добра и сильно к ней привязана, время от времени приотворяла себе вену на правом запястье, осторожно, чтобы не повредить сухожилие, и отдавала чуть-чуть своей крови, не более пятидесяти граммов, чтобы немного притупить жажду, снедавшую несчастную девушку, и при этом не ослабеть окончательно. Одной было около восемнадцати, другой

девятнадцать лет. Эта история казалась мне бесконечно трогательной, когда я представлял себе маленький город с нечистыми улицами, неряшливыми домами, возле которых целыми днями просиживали старухи в шерстяных платках, отпускавшие нелестные замечания по адресу всех входивших и выходивших, с огромными стаями бездомных собак, водившихся возле мясокомбината, где зарплату давно платили мясными обрезками, и то не каждый месяц. Зимой убожество городка было немного прикрыто снегом, сутками стоявшим наподобие взвеси, так что невозможно было ничего разглядеть, автомобили днём и ночью не выключали фар, люди закутывались в дутые куртки и до самых глаз закрывались шарфами, так что узнавали друг друга лишь по походке или окликнув друг друга.

Прочитанные номера я сначала отдавал Аглае, чтобы она тоже могла с ними ознакомиться, а потом употреблял в дело: разрезывал на узкие полоски и оклеивал огромную голову быка, необходимую для школьного спектакля, намеченного к Новому Году, в котором рассказывалось о том, как Тесей убивает Минотавра. Все ученики должны были принять в спектакле какое-нибудь участие, взять на себя одну из ролей, или украшать сцену, или поднимать занавес, или петь в хоре. Мне не хотелось ничего этого делать, я ничего не понимал в театральной игре, не умел петь в хоре и вообще старался держаться от других детей подальше, потому что меня пугали их дикие и залихватские повадки. Поэтому я сказал, что готов взять на себя изготовление головы Минотавра, и все с этим согласились, потому что

никому не хотелось этим заниматься. Роль Ариадны досталась Аглае, потому что она была самая красивая, а ещё потому, что она сама вызвалась её исполнять, и никто не стал возражать, потому что все были согласны с тем, что Аглая самая красивая, и ещё потому, что у неё было такое необычное имя, каким никого больше, кроме неё, не звали, в нашем классе девочек обычно звали светами или ленами, на худой конец оксанами.

Итак, разрезая газету на узкие полосы, я обмазывал голову Минотавра клейстером и наклеивал их в произвольном порядке поверх высохших слоёв. Мне казалось очень забавным, что голова будет вся состоять из скандалов, сплетен о телезвёздах, вымышленных сообщений о девушках-лесбиянках, одна из которых была вампиром, или об одной актрисе, которую похитили инопланетяне для того, чтобы осеменить её марсианской спермой. Ещё забавней было то, что о содержании этой головы никто не догадывался, кроме Аглаи, стало быть, как и в сюжете нашей глупой театральной постановки, она является обладательницей некоторой тайны. Тайна была из плохоньких, как раз соответствующих случаю.

А пока что я воображал, как две девушки-лесбиянки греются в крошечной комнатке в коммунальной квартире, где они спрятались от метели и всего света, где пол устлан газетами, а единственная тусклая лампочка обёрнута колпаком из коричневой ячеистой пластмассы, какую кладут в коробки с конфетами. Конфет они, впрочем, давно не видели. Старшая девушка, пьющая кровь, работает на разрушающемся на глазах мясокомбинате,

хотя кровь животных не может успокоить её жажду, всё же вид этой крови ей не неприятен и отчасти успокаивает. На общей коммунальной кухне они вдвоём жарят шипящее отфыркивающееся мясо с чёрным перцем, а потом едят его руками, запивая дешёвым красным вином из пакетов, но так бывает не каждый день, а лишь время от времени. Иногда по выходным они ходят в клуб на дискотеку, причём младшая надевает на запястье кожаную повязку с шипами, какие носят металлисты, для того, чтобы скрыть шрамы от надрезов, а старшая надевает на голову чёрную косынку с узором из черепов и скрещенных костей. Там они танцуют под очень плохую и очень громкую музыку и знакомятся с молодыми людьми быковатой наружности. Обе девушки терпеть не могут этих молодых людей, от которых пахнет потом, коктейлем «отвёртка» и недоброй животной мужественностью, вполне довольствуясь друг другом, но, тем не менее, заигрывают с ними, всячески намекая на то, что желали бы заняться любовью втроём. Подцепив какого-нибудь, они уводят его в подсобное помещение на территории фабрики игрушек, которая давно не работает, потому что никто не покупает уродливые, не соответствующие нормам санитарной гигиены изделия, которые там изготовлялись, а ещё потому, что людям нынче не до игрушек, там быстро перерезают ему горло скальпелем, обёрнутым липкой лентой, и тогда старшая долго и с наслаждением пьёт хлещущую из раны кровь, а младшая стоит на стрёме, чтобы никто нечаянно их не застукал за таким неподобающим их полу и возрасту занятием. Часть крови девушки сцеживают в пластиковые бутылки из-под «спрайта» и уносят с собой. Но так

бывает не часто, а лишь время от времени. В те времена люди нередко пропадали, иногда становились жертвами криминальных разборок, а нередко и просто так, безо всякой умопостигаемой причины. Никто не подозревал девушек в их убийственной деятельности. Они возвращались домой, складывали пластиковые бутылки в полиэтиленовый пакет и вешали за окно, чтобы кровь не свернулась и оставалась свежей на морозе, потом долго любили друг друга, накрывшись одеялом, сшитых из цветных лоскутов, причём от лампы под коричневым колпаком по стенам и потолку ползли шоколадные вкусные пятна.

Каждую неделю, вооружившись кисточкой и стеклянной банкой с клейстером, я клеил голову Минотавра, которая раз за разом становилась всё более бесформенной и отвратительной. Она вызывала у меня чувство брезгливости, и я с ужасом ждал того дня, когда мне придётся предъявить свой шедевр классному руководителю. Классный руководитель была красивая молодая женщина с большими тёмными влажными глазами, как у оленёнка Бемби, всегда немного печальными, однажды мы с Аглаей были у неё в гостях, она позволила нам погладить своего пекинеса, маленького, с вытаращенными глазами, которые, казалось, готовы были скатиться по его монголоидным крепким скулам, как большие карие слёзы, и подарила мне книжку стихов поэта Ходасевича, потому что знала о моём пристрастии к чтению (о моей любви к газете «Скандалы» она, конечно, не подозревала). Я слышал, что эти собаки действительно иногда, придя в чрезмерное возбуждение, так таращат

глаза, что яблоки выпадают из глазниц и повисают на тоненьких волокнах, и тогда хозяевам приходится вправлять их на место. Я очень осторожно гладил пекинеса, трепеща от мысли, что его выпуклые, как леденцы, глаза, чего доброго, могут выкатиться и лечь прямо мне в руку, так что даже испытал лёгкое отвращение, вообразив, что влажный шар касается моей кожи. Тогда-то классная руководительница отозвала меня в сторону и вручила тоненькую книжку, сказав, что это может быть мне полезно. Книжка была желтоватая и отпечатана с ерами, что, как мне казалось, делало её необыкновенной, я не знал, как благодарить классную руководительницу, которая была красивая, никогда не кричала на детей, что бы они ни сделали, а только смотрела своими большими тёмными и скользкими глазами, которые тоже, казалось, могли выкатиться от огорчения, так что просто сказал «спасибо» и положил книжку в портфель. Мне было стыдно, что я читаю газету «Скандалы» и знаю про лесбиянок.

Раз за разом всё более подробно я представлял себе девушек из маленького богом забытого городка где-то на севере страны, такого маленького и такого забытого, что редакция газеты не сочла нужным даже упомянуть его имя, возможно, желая сохранить тайну девушек. Тем не менее, их фотография, чёрно-белая и в плохом разрешении, но всё равно похожая, разошлась по всем городам страны, где жители покупали газету «Скандалы», чтобы внести умеренное разнообразие в своё ничтожное существование, и вскоре подруги оказались в центре внимания своих голодных и обозлённых сограждан.

Родители младшей, и прежде осуждавшие поведение своей дочери, потому что она ушла из дома, поступила в медицинское училище, где училась на медсестру, а медсёстрам почти ничего не платят, и потому что она возмутительным образом сожительствует со своей подругой на глазах у всего города, потребовали, чтобы она вернулась домой, потому что им стало невозможно смотреть в глаза соседям, которые теперь знают, что их дочь лесбиянка и вампир. И, хотя девушки возмущённо отрицали справедливость этих слухов, указывая на то, что газета «Скандалы» печатает всякий вздор, высосанный из пальца, которому ни один разумный человек верить не станет, всё-таки родители в один прекрасный день явились в коммунальную квартиру в сопровождении лейтенанта милиции и увели свою дочь, которая пыталась сопротивляться, но, поскольку ей ещё не исполнилось восемнадцати, ничего не смогла поделать. На прощание она выкрикнула своей подруге, что непременно вернётся, как только станет совершеннолетней, и день рождения они отпразднуют вместе, когда уже никто не сможет им помешать, и очень сильно бранилась всеми непотребными словами, которые только знала.

После этого я возненавидел газету «Скандалы», из-за бестактного вмешательства которой разыгралась эта драма, позабыв, что сам только что выдумал эту душераздирающую и, по правде сказать, довольно бездарную историю, и пожелал, чтобы редакция этой газеты сгорела, главный редактор был отдан под суд за распространение заведомо ложной информации, а все сотрудники до одного были уволены. Я разрезал листы на

очень маленькие кусочки, вкладывая всю свою ярость в это занятие, как будто эта ярость, не удовлетворившись малостью предмета, к которому была приложена, могла, слившись в единый поток, обрести действенность и поразить вероломных сотрудников ненавистного мне печатного органа, в угоду своей алчности и легкомыслию воспользовавшегося доверием двух невинных девушек и разрушившего их жизнь. Я до такой степени возненавидел «Скандалы», что кромсал их вдоль, и поперёк, и по диагонали, и в любом направлении, словно ожидая, что из страниц вот-вот потечёт кровь, однако ничего этого не происходило, и я продолжал употреблять обрезки для сооружения головы Минотавра, чей вид становился поистине чудовищным. Выпуклые глаза пялились рябыми бельмами, ноздри криво раздувались, один рог был короче другого, точно это были крабьи клешни. Скоро уже близилась театральная постановка, Аглая заходила теперь не так часто, всё свое время употребляя на репетиции, а в свободное время постоянно бормотала себе под нос слова своей роли: «О Чужестранец! Я укажу тебе путь из лабиринта и помогу уничтожить чудовище!» — и прочую чепуху, которую мы все вместе сочинили на уроке внеклассного чтения под управлением нашей классной руководительницы. Следовало поторопиться с работой, а заодно и закончить с историей двух девушек из маленького северного городка, ставших жертвами человеческого бессердечия и неприкрытого цинизма газеты «Скандалы».

Оставшись одна, старшая девушка сильно затосковала. Убогая жизнь в крохотной комнате коммунальной

квартиры, прежде освещённая присутствием любимой подруги, лишилась всякого удовольствия и смысла. Соседи после визита родителей второй девушки в сопровождении лейтенанта милиции стали не по-доброму смотреть, прятали вещи, еле здоровались и, стоило ей выйти из кухни, говорили, так, чтобы их было слышно, всякие гадости. Мясокомбинат закрыли, потому что больше не могли платить зарплату работникам, стало нечего есть. Девушка тосковала по своей подруге, по вкусу её тёплой дружественной крови, которая была приятней всякой другой, на коже началось раздражение, синеватыми звёздами загоравшееся на животе, груди и ляжках и вскоре распространившееся по всей коже. Особенно трудно становилось, когда над городом поднималась полная луна и городские шизофреники, число коих за последние время в разы увеличилось, бродили по городу, как сомнамбулы, шаря бессмысленным взглядом по лицам прохожих и выкрикивая всякие глупости, которые услышали по радио или прочитали в газетах. Тогда девушку охватывала неумолимая жажда крови, так что она сильно закусывала кисть и после долго слизывала скудно сочащуюся кровь. В один прекрасный день она не выдержала и, зажав в кармане скальпель, который её исчезнувшая подруга украла в медицинском училище, где училась на медсестру, с обёрнутой липкой лентой рукояткой, отправилась на улицу в поисках жертвы.

Я закончил клеить голову Минотавра, когда до представления оставалась неделя, и теперь наспех покрывал её красной и коричневой краской, стараясь придать ей

как можно более зловещий и пугающий вид. Когда красная краска из набора гуаши закончилась, а она сделала это очень быстро, пришлось воспользоваться остатками масляной краски бурого цвета, оставшейся после ремонта, которой были покрашены плинтусы в квартире. Минотавр оказался пегим, бурым, красным, пачкал руки, не желал сохнуть и выглядел жалко. Я вынес его на балкон, чтобы он не вонял. Глаза я сделал чёрными, с воспалёнными белками, потому что на них перетекла красная краска с надбровных дуг, и осоловелыми. Я подумал, что, встретившись с таким чудовищем, Тесей даже не успеет вытащить меч из ножен и сразу умрёт от страха, тогда шести юношам и семи девушкам, в роли которых была задействована добрая половина класса, тоже придёт конец, а бедная Ариадна никогда не выйдет замуж. Впрочем, думал я, она и так не выйдет замуж, ведь, убив Минотавра, Тесей не сдержит данное ей обещанье и не увезёт её в Афины, после чего она сделается супругой бога Диониса, то есть станет алкоголичкой. А если так, то не имеет значения, хороша или плоха голова Минотавра, подумал я и понёс плод своего кропотливого труда, состоящий из сомнительной и недостоверной информации, на суд классной руководительницы.

Классная руководительница посмотрела на голову Минотавра и взгляд её больших глаз, словно подёрнутых влагой, стал ещё печальней. Однако она похвалила меня, потому что была очень доброй и никогда никого не ругала, сказала, что я хорошо поработал и чтобы я обязательно приходил на спектакль, потому что мне будет приятно посмотреть, как голова Минотавра

смотрится на сцене, а ещё потому, что все очень старались, особенно Аглая, с которой мы дружим и которую мне обязательно следует ободрить своим присутствием. Она так сказала, потому что знала — я бы никогда не пришёл на спектакль по доброй воле, если только меня не попросить об этом специально, потому что терпеть не могу школьные спектакли, когда дети выряжаются в нелепые костюмы и без всякого выражения произносят слова, смысла которых не понимают, а я его понимал и находил очень глупым. Но я всё равно решил пойти, потому что хотел посмотреть на Аглаю, наряженную и причёсанную как царская дочь (что бы это ни значило), и потому что знал, что по случаю спектакля ей разрешат накрасить лицо, и щёки, и ресницы, которые у неё и так были очень длинные и чёрные, и даже наложить на веки разноцветные блёстки, и, кроме того, мне не хотелось, чтобы другие подумали, будто мне стыдно за голову Минотавра, которую я сделал. А пока что мне предстояла самая печальная часть истории о девушке-лесбиянке, любившей пить человеческую кровь.

Итак, в ночь полнолуния, когда оставалась всего неделя до того дня, когда её подруга достигнет совершеннолетия и сможет делать всё, что ей заблагорассудится, девушка, любившая пить кровь, решилась выйти на улицу и найти себе жертву, потому что жажда сделалась совершенно нестерпимой, зловещая сыпь добралась уже до кончиков пальцев, глаза постоянно слезились, а слюна приобрела тот совершенно особенный вкус, который напоминает всем вампирам о том, что им пора отправляться на охоту. Был самый конец зимы, снег начал

подтаивать, а к вечеру все дороги покрывались скользкой коркой, так что девушка постоянно балансировала, стараясь не упасть, и при этом всё время оглядывалась по сторонам, не идёт ли кто. Так, спотыкаясь и оглядываясь, она проследовала мимо заброшенного мясокомбината, где когда-то работала, мимо медицинского училища, где её далёкая и теперь недоступная подруга училась на медсестру, мимо детского сада и библиотеки, пока не дошла до самого края города, где начинался редкий и небезопасный лес. Здесь у неё был шанс встретить какого-нибудь нетрезвого одинокого прохожего и наспех утолить жажду.

Внезапно её окликнули. Она обернулась и прищурилась, потому что из-за сумерек и мелкого полуснега-полудождя, весь день валившегося с неба, ей было плохо видно. Группа подростков ПТУшного вида что-то кричала ей вслед. Она решила не обращать внимание и как можно быстрее скрыться от них, но подростки, видимо, заинтересовались и догнали её, окружив со всех сторон.

— Э, да это же та самая девица, которая питается кровью! — сказал один из них, от которого очень сильно пахло коктейлем «отвёртка».

— Это точно она, — подтвердил другой, у которого был очень писклявый надтреснутый голос.

— Лесбиянка, которая пьёт кровь! — восхищённо пробасил третий, в чёрной вязаной шапке. Они все как будто бы только и мечтали об этой встрече.

— Дайте мне пройти, — грубо сказала девушка, любившая пить кровь. Ей совсем не хотелось общаться

с этими нетрезвыми и способными на всякие дурные дела подростками.

— Куда ты так торопишься? У тебя, наверное, свидание? — сказал подросток в вязаной шапке.

— Да, с её подружкой. Они будут лизаться и пить друг у друга кровь! — предположил тот, от которого пахло отвёрткой. А тот, у которого был писклявый и надтреснутый голос, не придумал, что сказать, и просто мерзко захихикал.

— Дайте мне пройти, — повторила девушка, любившая пить кровь. Её всю колотило, и она понимала, что если немедленно не получит крови, то её всю скрутит и она не сможет сдвинуться с места, рухнет на землю и так и останется лежать и корчиться. Но подростки не позволили ей пройти:

— Куда? Мы ещё не закончили!

Подростки слегка робели. Они ещё никогда в жизни никого не убивали, а тут им представился такой удобный случай, и они не знали, как подступиться к делу. Им было неловко и хотелось, чтобы рядом оказался кто-то более взрослый и опытный, кто уже имел дело с вампирами-лесбиянками и научил бы, как с ними обходиться. От неудобства они стали особенно вежливыми и очень застенчивыми.

— Нечего мне с вами обсуждать, — сказала девушка, любившая пить кровь. Она чувствовала, что её пальцы сводит судорога, а колени подгибаются. Ей очень хотелось как можно скорей отделаться от навязчивых подростков и поспешить напиться чьей-нибудь крови.

— Как это нечего? — спросил тот, кто выпил очень много коктейля «отвёртка». — Ты должна нам

рассказать, как трахаются лесбиянки и какая на вкус человеческая кровь. Тогда мы тебя отпустим.

— Не знаю, — сказала девушка, любившая пить кровь, — понятия не имею. — и снова попыталась уйти. Тогда тот, на котором была чёрная вязаная шапка, схватил её за плечо:

— Стой! Мы тебя не отпускаем. Отвечай на вопросы! — всё это он проговорил быстро и неубедительно, потому что общий страх перед тем, как они сейчас будут убивать вампира-лесбиянку, передался ему, сковал его движения и сделал речь неуверенной и высокомерной.

— Пойди к чёрту! — выкрикнула девушка, любившая пить кровь, потому что подступающая тошнота и желание немедленно выпить крови сделали её очень нервной. Чтобы освободиться, она откинула голову и изо всех сил стукнула лбом подростка в чёрной шапке, так что у неё в ушах зазвенело. Поскольку подросток в шапке был немного ниже ростом, со стороны можно было подумать, что она его в чём-то наставляет с излишней горячностью. Подросток в чёрной шапке изумлённо отпрянул. Остальные тоже очень удивились. Теперь уже они чувствовали свою правоту и понимали, что судьба к ним благосклонна и одобряет их начинания.

— Она дерётся! — воскликнул подросток с неприятно-писклявым голосом.

— Она только что его ударила! — подхватил тот, что выпил слишком много коктейля «отвёртка».

— Ты чего? — в голосе потерпевшего в чёрной вязаной шапке звучало удивление, и обида, и негодование. Он выхватил из кармана кулак, унизанный толстыми

железными перстнями, и двинул девушку, любившую кровь, в челюсть.

И тот, у которого был неприятный писклявый голос, достал откуда-то из-за пазухи почти пустую пивную бутылку, и изо всех сил ударил девушку, любившую пить кровь, по голове.

А тот, от которого пахло коктейлем «отвёртка», вынул из кармана маленький ножичек с выскакивающим лезвием и пырнул девушку, любившую пить кровь, в бок.

И так они по очереди ударяли, и кололи, и пинали девушку, любившую пить кровь, а она так ослабла, что еле-еле сопротивлялась, но ничего не могла сделать, потом упала на землю и забилась в корчах, пока трое подростков, вдохновлённых снизошедшей на них благодатью, продолжали её пинать, колоть и избивать, пока не увидели, что она вся покрыта кровью, что она тихо стонет и совсем не сопротивляется.

— Всё, хватит, — сказал подросток в вязаной шапке, — она уже еле дышит, я весь взмок.

— Давайте расколем ей голову, — предложил тот, у которого был писклявый голос.

— Нет, давайте перережем ей горло, — сказал тот, который пил отвёртку. Он приставил свой ножичек к горлу девушки, любившей пить кровь, которая слабо пошевелилась и застонала. Никто из них не знал, как правильно перерезывать горла, все были озадачены. Тот, что с писклявым голосом, выхватил у своего товарища ножичек и стал тыкать им вслепую в шею девушки, любившей пить кровь, но всё никак не мог попасть в нужное место и только извлекал из девушки, любившей пить кровь, глухие стоны.

— Ничего не умеешь, — сказал тот, что был в вязаной шапке, отнял ножичек и начал пилить шею девушки в районе кадыка. Но лезвие ножичка было тупым, и опять ничего не получалось, и все чувствовали себя ужасно утомлёнными, потому что им хотелось уже закончить с этим и пойти выпить ещё «отвёртки».

Тут девушка, любившая пить кровь, на секунду очнулась и изо всех сил вцепилась подростку в шапке в запястье той руки, в которой он держал ножичек, подросток взвизгнул и попытался вырваться, а остальные тут же кинулись ему на помощь и принялись добивать девушку, любившую пить кровь, ногами и велосипедной цепью, и продолжали до тех пор, пока она не разжала зубов и не затихла. Тогда они оттащили тело девушки, любившей пить кровь, в сторону, бросили его в сугроб и присыпали снегом. Молодой человек в вязаной шапке, у которого из запястья хлестала кровь, выругался, стащил свою шапку и прижал её к запястью.

— Слышь, теперь ты тоже станешь вампиром, — осторожно предположил любитель коктейля «отвёртка».

— Ага, сто пудов станешь, — поддержал его писклявый.

— Да пошли вы… — неуверенно ругнулся укушенный. Он чувствовал лёгкую неловкость перед содеянным, как будто выполнил какую-то необычайно ответственную задачу, и испытывал теперь потребность перед кем-нибудь похвастаться, а кроме того, у него болела рука.

— Будешь ходить по улицам и выискивать жертвы! — предрёк писклявый.

— Как Дракула! — подхватил владелец ножичка.

— Да пошли вы… — повторил укушенный, не найдя, что ещё сказать.

Так, по-доброму переругиваясь, они отправились прочь с места происшествия, а девушка, любившая пить кровь, осталась лежать в снегу и через несколько часов скончалась от холода и полученных ран.

Итак, наступил день театрального представления. Все ученики, не задействованные в спектакле, явились принаряженные, также были родители, ученики смежных классов, которых в обязательном порядке заставили присутствовать на представлении, учителя и ещё какие-то люди. Представление было из рук вон плохое. Семь юношей и девушек, приготовленные на заклание, закутанные в простыни поверх обычной одежды, стояли рядком, мялись и изо всех сил старались не смеяться. Иногда они всё-таки смеялись. Тесей с картонным мечом потерянно стоял посреди сцены и очень хотел уйти. Когда на сцене появился Минотавр, все зрители прыснули. Пегий и пятнистый, с кривыми рогами разной величины, он был смешон. Хороша была только Аглая: в одеянии из алой шелковистой ткани, сделанном из старой портьеры, с волосами, собранными в высокий хвост, подкрашенная и с серебряными блёстками на веках, она выглядела великолепно и читала свой текст с выражением и подлинным чувством. В протянутой руке она держала клубок ниток, поверх которого была накручена ёлочная мишура и дождик, так что весь клубок сиял и переливался. Я подумал, что лучше бы прогнать всю эту нелепую труппу со сцены и оставить одну лишь

Аглаю, чтобы все могли видеть, какая она красивая и талантливая, и она могла бы прочитать свой монолог, обращаясь к зрителям. Как бы то ни было, скоро её роль подошла к концу и Аглая удалилась, предоставив место на сцене Тесею, чтобы он сразился с Минотавром и после, влекомый путеводной нитью, вышел из лабиринта. Сражение было коротким и бескровным, так что голова Минотавра скоро слетела с плеч и была водружена посреди сцены, сам Минотавр, прикрыв оставшуюся, человеческую голову куском красной ткани, изображавшей потоки крови, тихонько уполз со сцены, а спасённые девушки и юноши, слившись в нестройном хоре, принялись благодарить Тесея. Потом был опущен импровизированный занавес, и все были очень довольны, что спектакль закончился. Зрители поаплодировали актёрам и начали покидать зрительный зал, обрадовавшись, что могут идти по домам. Я не спешил последовать их примеру, потому что имел свою тайную цель: ободрённый вниманием классной руководительницы, я записывал историю о девушках-лесбиянках из маленького северного города в толстую тетрадь и хотел теперь представить своё произведение на суд классной руководительницы. Я думал о том, что она подарила мне книжку стихов, и ещё о том, что она закрыла глаза на уродство моего Минотавра, и про выпуклые глаза пекинеса, которые могут выпасть; я решил, что она должна прочитать мою историю и сказать всё, что она думает о ней. Я выждал, когда классная руководительница освободится, подошёл к ней и тихо сказал, что написал повесть и очень хотел бы услышать её мнение. Классная руководительница ласково улыбнулась, взяла тетрадь

и сказала, что непременно прочитает. Я просиял и отправился на поиски Аглаи, чтобы сказать ей, как она прекрасно выглядела на сцене, и проводить домой.

Потом начались новогодние праздники, потом каникулы, разговор с классной руководительницей отодвинулся на неопределённое время. Я мог целыми днями читать книжки, играть с Аглаей и почти перестал думать о том, какое впечатление моя повесть произведёт на классную руководительницу. Иногда я подумывал о том, что дальше случилось со второй, младшей девушкой-лесбиянкой после того, как ей исполнилось восемнадцать лет. Как она, став свободной, вернулась в место их с подругой прежнего счастливого обитания и, никого не обнаружив, бросилась на поиски и, в конце концов, отыскала в морге её тело, которое никто не забрал и не смог опознать. Или она, преисполнившись духом мщения, стала бродить по улицам в поисках убийц. Или сама стала вампиром и начала преследовать одиноких прохожих. А иногда мне казалось, что старшая девушка не умерла, что она выжила и смогла выбраться из-под снега. Или что подросток в чёрной шапке сам стал вампиром и сперва убил своих преступных друзей, а после и сам был убит в схватке с очередной своей жертвой. Возможно, это была подруга девушки, любившей пить кровь, которая, не зная об этом, сумела совершить возмездие. Я никогда больше не покупал газету «Скандалы», с которой всё началось. Я погружался в мысли о том, как дальше могли бы развернуться события, путался в версиях, иногда волевым усилием пытался выкинуть всю эту историю из головы, но ничего не мог с собой поделать.

В первый день после каникул я не мог дождаться, когда же смогу поговорить с классной руководительницей. Слушал учителей вполуха и даже удостоился замечания в дневнике за невнимательность. Наконец, уроки закончились. Оробев, я подошёл к классной руководительнице и тихо спросил её, прочитала ли она мою повесть и что о ней думает. Классная руководительница взглянула на меня своими большими глазами, которые были очень печальны, печальней, чем обычно. Она сказала: «Очень плохо, хуже некуда. Откуда у тебя в голове взялись такие мысли? Ты что, читаешь бульварные газеты? Почему твои родители позволяют тебе их читать? Мне нужно с ними поговорить». Она сказала: «Думаю, тебе стоит поговорить со школьным психологом. Это ненормально — в твоём возрасте сочинять такие вещи. Я думаю, серьёзная беседа со специалистом тебе поможет». Она сказала: «Твою повесть я пока тебе не могу отдать. Я должна показать её твоим родителям и школьному психологу. Кроме того, ты делаешь очень много орфографических ошибок. В твоих диктантах и сочинениях ты делаешь их гораздо меньше». Она сказала: «Давай пока что забудем об этом. Давай договоримся: ты больше не будешь писать таких повестей и даже думать о них. Если ты мне это обещаешь, то я не буду говорить с твоими родителями и ты сможешь избежать встречи со школьным психологом. А тетрадь пусть побудет пока у меня». Она была очень добрая, и по её глазам я понял, что она очень расстроена и хочет избавить меня от неприятностей с родителями. Я не знал, что сказать. Я сказал: хорошо, пусть тетрадь останется у неё, и обещал больше не писать таких повестей и даже не думать

о них. Мне не хотелось идти к школьному психологу. Я пошёл домой и старался с тех пор не писать повестей и даже не думать о них.

Мне было печально и одиноко, словно кто-то отнял у меня лучшую и важнейшую часть жизни, толком не объяснив причину. Это было обидно и непонятно. Я снова стал читать газету «Скандалы», статьи о людях, торгующих человеческими органами, о косметических препаратах, которые делают из человеческих зародышей, об инопланетянине Алёше, которого нашла и воспитывала одна старушка из русской глубинки, и о других, которые похищают людей для того, чтобы встраивать в их мозг датчики и потом всегда знать, что происходит в мире людей. Ничто не приносило мне утешения. Из головы не выходили слова классной руководительницы о том, что моя повесть плохая, хуже некуда, и что таких повестей писать больше не следует. Я подумал: что, если классная руководительница ошиблась? Может быть, повесть вовсе не так дурна, просто классная руководительница очень чувствительная и ей неприятно читать про вампиров и убийц. Я решил написать другую повесть — о людях, похищенных летающими тарелками, и написал её, и принёс классной руководительнице. Я старался, чтобы в повести не было никаких страшных сцен и ничего неприличного. Сперва классная руководительница испугалась и сказала, что я ей обещал больше не писать повестей, но я уверил её, что эта повесть совсем другая. Тогда она взяла эту повесть и обещала посмотреть. И вот с тех пор я жду её ответа, всё жду и жду, потому что начались школьные каникулы и все разъехались,

и Аглая, и я тоже уехал в деревню, я не знаю, чем это всё закончится, и что скажет классная руководительница, разрешит ли она мне сочинить ещё одну повесть или хотя бы подумать о ней, до окончательного вердикта ещё очень много времени, целая куча времени, и от этого времени делается страшно, такое оно пустое, и никчёмное, и непонятно, кто его сделал в таком количестве и с какой целью. О девушках-лесбиянках, одна из которых любила пить кровь, я больше не думаю.

VI

Ландшафт и камера

Ландшафты сопротивляются любительской съёмке: её удел — здания и мелкие предметы, сподручные людям. В мире трёхмерном город хорош, когда правильно вписан в ландшафт, в мире двухмерном разве что ландшафт удачно уместится между расклёшенных перспективой строений. Лишённый рукотворного обрамления, ландшафт исполняется совершенным безразличием к нашему взгляду, тщетно ищущему возврата прежних ощущений: он похож на то, что сохранила наша память, не больше, чем нотный значок на означаемый им звук. Большая вода на всех снимках всегда одна и та же, она ускользает от нас в своей неподвижности.

Как нам, в таком случае, говорить о большой воде? Скажем: когда катер пересекает Охридское озеро вдоль, держась середины, остановите взгляд на горах: они окажутся совершенно неподвижными.

Крошечные македонские церкви заласканы со всех сторон обходительными видоискателями, согреты

вспышками, как ручные белки в Петергофе. Кажется, они иногда незаметно изменяют положение, чтобы лучше уместиться в кадр. Охридское озеро нижет и нижет себя мягкими складками, его дыхание ровно и проходит глубоко под водой. Озеро никуда не движется, горы никуда не движутся. Они почти как Бог: можно подумать, будто они умерли, или не жили вовсе.

Слева по ходу церковь Св. Заума, прямо по ходу церковь Св. Наума. На изразце вверху ворот святой Наум держит за шкирку небольшого пёсика: это медведь. Слева от входа погребён сам святой, люди нагибаются, заходят, осеняют себя крестным знамением и прикладываются ухом к плите. Во дворе, мощенном брусчаткой, рассыпаны бесстыжие зёрна кукурузы: здесь живут фазаны. Выходя, мы спрашиваем у Арны, что слушают люди, прикладывающиеся к плите, она отвечает: «они слушают, как бьётся сердце. Я — не слышала, как оно бьётся. Некоторые — слышат». Там, где мы поставим тире, Арна поднимет и без того высоко изогнутые брови, так что лоб уложится двумя удивлёнными полукружьями, чтобы нам было понятней.

Девушки ловят камерами фазана, фазан убегает. Снова и снова посещает назойливая мысль: на скольких чужих любительских снимках мы — случайно — продолжаем существовать элементами фона?

T’ga za jug

Зелёные грецкие орехи под толстой и мягкой кожурой с ничем несмываемым соком, их разбивают придорожными камнями о придорожные камни, стараясь не запачкать пальцев; из них выколупывается скользкий орешек-выкидыш. Черепная коробка его мягкая, можно раздавить в кулаке, а мозг цвета слоновой кости, ни с чем не сравнимый на вкус, если только снять с него беловатую кожицу в розовых прожилках, которая нестерпимо горька.

Также растёт и ежевика, про которую спрашивал, чейная она или ничейная, получив в ответ, что она — куст простой, то есть божий, то есть такой, который людям не нужен вовсе, ежевика считается созревшей, если до неё достаточно дотронуться, чтобы она сама отвалилась в подставленную ладонь, окрашивает пальцы и язык в лиловый цвет.

С тех пор как я оттуда вернулся, я всё болею, это ничего не значит, я и перед тем, как туда уехать, всё время болел, но в этом что-то странное, что-то противоестественное, потому что я родился ведь здесь, а не там, но, может быть, родиться здесь вообще противно природе, как я сейчас понимаю, здесь вообще не место для высших приматов.

Горы, горы кругом, или скалы, завёрнутые, как на фресках, гулкие, чреватые пещерами и пещерками. Вдруг налетел ветер и скалы начали перебрасываться им, как мячом, когда облака плывут от тебя, кажется, что это скала желает придавить тебя своей серой слоистой халвой.

Жили, допустим слепые существа с полужидкой кожей, они питались скалами, а умирая, каменели сами, изменяя с веками рельеф.

*

Чёрные, точно обожжённые зажигалкой и пепелящиеся по краям розы, небесная стружка, их шипы пропитаны галлюциногеном, от которого кровь разворачивается, оборачивается жидким стеклом, на секунду застывая, чтобы надорвать аорту

В большие чаши наливали нам голубоватое молоко, холодное, точно из груди непорочно зачавшей. Глядели, как глиняные берега облизывают и не могут слизнуть солоноватую на вид пенку. Так проходило утро, неторопливо, пока ещё можно есть, потому что когда солнце — солоноватое — выкатывается бешеным глазом висельника на самую середину, то нельзя есть, нельзя пить, нельзя двигаться, можно только впитывать жар, как губка, на долгую, долгую, холодную холодную жизнь по возвращении на родину

Экое слово смолвилось: родина. Родимое пятно, крошечная меланома, по которой могут опознать сородичи,

родимая сорочка, отвратительный красный послед, присохший к вороту. Несводимый акцент

Там, в сумерках, когда под мостом пузырится и пузырится, и мы под мостами превращаемся в пену морскую, нетвёрдую, лживую всеми цветами, кровавящуюся пену. Там, под мостом, сглотнёт нас, не опознав, древняя кистепёрая рыба. Узкие кости её схватывают позвонок, как дети хватают игрушку-пустышку, и только медленно-медленно костный мозг перетекает по канальцу, думая сам себя

Но скалы свёртываются по краям, скрывая там и сям маленькие храмы, сами пустотелые, как позвонки, и в нём Некто сам себя тоже думает при неярком парафиновом свечении, и собираются тоже думать Его, серого до прозрачности, золотистого и никакого. И цветут, не выцветая, написанные по сырому уже не краской, а крошевом, трещинками, точно впрямь живые и у них морщины. Об этом не следует забывать.

В гулком, гулком гроте, вниз костлявыми полулоктями-полуколенями, священнодействуют мыши. Гнилушки у них и другая утварь. Крошечным стетоскопом жмётся к камню ящерица, слышит, как в подземных пустотах капает вода и что именно говорит другой, нижней воде. Всё обрастает мхами, красными, лиловыми, не такими, выпускает хитрые много о себе думающие жгуты. Ночь кругом и ночь, только хрустнет, бывало, что-нибудь, охнет, точно чёрт ногу сломил. Но на пристани маячки горят, маячки, давно никто на них не живёт, но они зажигаются, словно одушевлены и готовы предоставить убежище.

Карта Кипра

На стене карта Кипра: шкурка небольшого хвостатого животного, распяленная для просушки

Ночное гулянье в Искелле. Дым от многочисленных мангалов поднимается вверх и стоит, покачиваясь, плотным облаком: духи зажаренных животных устроили свой собственный праздник. К утру люди и духи, утомлённые развлечением, расходятся в остывающем воздухе

Гирне, город, со всех лотков, витрин, мостовых разглядывающий приезжих круглыми вытаращенными глазами из синей смальты. От столь внимательного разглядывания иноземцы втягивают животы, расправляют плечи и стараются как можно скорее скрыть свои тела под щекотным бронзоватым загаром: так, думается им, можно сделаться неразличимым для сорока тысяч чёрных, дырявящих кожу зрачков

Пляж в Денискизи. Вечером пляжные зонты, сложенные, замирают, точно монахини в белых клобуках. Прикрыв лица, ожидают они пришествия чего-то огромного, влажного и солёного, которое, приблизившись на шаг, тут же отступает во тьму, не давая до конца удостовериться в собственном существовании

Маре Монте, некогда роскошный отель, ныне заброшенное пространство, означенное тут и там кругляшками овечьего помёта. Песок, наполовину состоящий из крошечных раковин, так же в свой срок оставленных своими обитателями. Здесь, на берегу, можно наблюдать раковины всех размеров и свойств — от тех, что легко проходят сквозь булавочное ушко, до тех, что способны вместить почтенное семейство с детьми — со всеми удобствами, изобретёнными цивилизацией.

Красная земля

Красная земля цветом напоминала о ржавчине, об адаме кадмоне, о железе, которое прописывают вялым и плохо растущим детям, о коротеньких оливковых деревьях, которые, точно карликовые овцы с колючей свалявшейся шерстью, паслись там и сям, глубоко погрузив вытянутые морды в краснозём. Красная земля была повсюду, высыхая и распыляясь, проникая между волокнами тканей, так что можно было принять её за следы загара. Вот какова была красная земля. Её свойство — питать виноград с плотными гроздьями в небольших веснушках, небольшие крепкие ягоды отделены плотной кожицей, точно непомерно разросшиеся клетки, внутри которых угадывались небольшие тёмные органы живого существа.

Ровинь

Город Ровинь, если смотреть на него из гавани, кажется нарисованным на куске картона, мелко раскрашенным и вставленным под линзу. Он выглядит совершенно лишённым перспективы со своими тесно посаженными скошенными крышами в красной чешуе, в холке прошит тёмными остриями кипарисов, точь-в-точь заколотая и подтянутая ближе к берегу чудо-юдо-рыба. Кажется невероятным, что между силуэтами точно пригнанных, подогнанных домов, кривыми лесенками взбегающих к вершине, где царит тонкая заострённая башня Св. Эуфемии, проткнувшая рыбье брюхо и вылезшая в середине хребта, могут уместиться улицы, что там могут жить люди и происходить какая-то жизнь: город слишком декоративен и оттого слишком реален для таких полувымышленных существ, как люди. С плакатов, проспектов, открыток он является своей другой, неведомой стороной, снятый с воздуха, — и тогда он огромное печёное яйцо с коричневатой потрескавшейся скорлупой, пришвартованное к берегу.

Изнутри Старый Город полностью замощён бурсчаткой, глянцевитой, шелковистой на ощупь, как если бы мы находились в зоне прилива, где всякий камень отглажен и закруглён постоянным движением волн. Нет

ни пяди земли — красной земли — кроме той, что в кадках и горшках, так что кажется временами, будто город целиком выбит в скале, или кости, или он наборная шкатулка-головоломка, в которой, как шарик, перекатывается любопытствующий турист, ища не как выйти из лабиринта, а как остаться в нём по возможности дольше и разнообразней. Улицы подчас такие узкие, что, запрокинув голову, можно разглядеть тонкую полоску неба, перечерченную тут и там верёвками, на котором сушится бельё. Трапециевидные основания домов, иногда невообразимыми клиньями врезающиеся в тесное пространство между двух соседних, как если бы кто-то поддел их на лопатку и приготовился выложить на тарелку. Редкое ровное пространство искривляется, плоится, сборится арками, ступеньками, какими-то невероятными, взбегающими вверх тупиками. Окна прикрыты ревнивыми ставнями или вдруг распахнуты, и тогда видно, как в лотке перемежаются мёртвые и живые цветы. Из какой-то невидимой расщелины плющ карабкается, забирая стену в мохнатый чехол, сквозь который с трудом продираются приоткрытые ставни. Слышна итальянская речь. В проёмах плещется море, к которому иногда ведут коротенькие ступеньки. Море плещется, плюётся, угрожает, как будто ведёт с городом какую-то однообразную многовековую игру: со стороны гавани кажется, что оно вот-вот слижет медовые приятные на вкус краски и ничего, кроме узкого контура, не останется, со стороны города кажется, что море — огромный сторожевой зверь, выпрашивающий остатки от ужина. Если в специальном месте сойти по ступенькам и заглянуть в воду, можно увидеть затонувшую пальму в кадке.

Пальма вытягивает стопалые волосатые ладошки, колышется и притворяется подводным растением.

Повсюду снуют кошки, выгибаются, вдруг куда-то шныряют, пристраиваются за столиками уличных кафе, как полноправные посетители. Можно подумать, что сейчас им принесут меню. Слышна речь немецкая, итальянская, хорватская, итальянская, французская, русская. Коренные жители воображаются какими-то мифическими существами, наподобие коралловых полипов, привычных к снующим стайками разноцветным рифовым рыбам, или, может быть, раков-отшельников, чьё тело приняло форму раковины, переняло её свойства и особенные изгибы и уже не мыслится без него. Потоки разноязыких и разноплемённых людей в сезон составляют часть их повседневности. Они к ним, вылизывающим взглядом всякий карниз, всякую надпись, всякий камень на мостовой, жадно вглядывающимся во всякую приоткрытую дверь, силясь уловить особенности вкуса и уклада здешней жизни, давно притерпелись и стыдятся их не больше, чем чаек.

Утром, когда солнце уже взошло, но ещё не видно из-за стен домов, а лишь подкрашивает небо, город моют щётками, губками и мыльной пеной. Приготовляют его туалет, точно старому, с окаменевшими суставами и раскрошившимися суставами морскому чудищу.

Фунтана

Фунтана, рыбацкая деревушка на полпути между Врсаром и Поречем. Двенадцать часов, пустынная автострада. В безлюдном придорожном кафе сомнамбулически вращаются два вздетые на вертела поросёнка. Один молочно-бледный, другой уже близкий к готовности, просмолившийся, в пахучих коричневых потёках. Обескровленные, с вывалившимися бледными языками, они то обращаются друг к другу, вскидывая передние лапы как бы в жесте безоговорочной капитуляции, то вновь, влекомые движением вертела, поворачиваются друг к другу спинами, и тогда их безволосые тушки с бессильно вытянутыми ногами кажутся тельцами детей, осуждённых и казнённых по подозрению в происхождении от дьявола, о котором свидетельствуют хрящеватые узкие хвостики. Немолодая немка, проходя мимо, кидает взгляд и произносит: «Брр!» Это зрелище длится и длится, предназначенное, кажется, для нескольких туристов, нервничающих в ожидании автобуса. Вокруг ни посетителей, ни прохожих. Наконец подъезжает автобус и заглатывает единственных зрителей этой кулинарной мистерии.

И здесь жили люди

И здесь жили люди, и не без достоинства. Живут и сегодня, хотя совсем других свойств и, в общем-то, равнодушны к интересу, перепадающему им от туристов, как бы выданные в нагрузку к ландшафтам, архитектурным головокружительным кульбитам эпохи лузиньянского завоевания и всяческим фруктам. Они привыкли попадать в кадр как бы для достоверности и нимало не смущены своим возможным присутствием на двадцати-тридцати сотнях любительских фотографий более-менее сносного качества (в какой-то момент любительская съёмка состоялась как факт и подавалась в виде сладкого блюда на десерт, когда все уже сыты). Римские древности в виде какого-нибудь колодца стоят, зная себе цену, и выглядят как гипсовая сувенирная фигурка, увеличенная до натуральных размеров. В мрачных косо освещённых узким сощурившимся светом помещениях можно увидеть завоевателей, в разные времена владевших Киренейским замком (от воина-лузиньяна до британского военного), более-менее сносно сработанных из папье-маше (страшно подумать, что где-то существуют люди, зарабатывающие себе на хлеб изготовлением фигур завоевателей из папье-маше, это в наши-то времена. Чувствуешь перед такими людьми почти религиозный трепет, хочется обустроить вокруг

них какой-нибудь культ, наподобие того как прежде люди заботились о богах, именно заботились, а не поклонялись, например, с поистине сыновней почтительностью, потому что знали, что боги очень-очень старые и скоро умрут). Последний в ряду завоевателей оказался турист с фотоаппаратом. Мы прошли мимо и не заметили, что он был настоящим, просто перешагнул через заграждение, чтобы получше рассмотреть какую-то деталь обмундирования, по которым был, должно быть, великий специалист, — воспользовавшись временным отсутствием сотрудника музея.

Далматаш — пещера мокрых камней

Далматаш — пещера мокрых камней. Вход в неё долгий и узкий, весь в складках и гребешках, как будто бы сохраняющих память о каких-то древних рождениях. Высокий свод щерится иглами. Влага проступает на камне, стекает, переливается, внезапно щёлкает по носу зазевавшегося посетителя. Пещера занята непрекращающимся трудом рождения: странные эти существа, сперва твёрдые скользкие кубышки или грибы-строчки, после вытягиваются, без рук, без глаз, точь-в-точь суслики, замершие столбиками, вот их уже три, четыре, поодаль подросший народец живёт своей медленной жизнью, собирается в группки, о чём-то договаривается между собой, над ними, как стражи, зависают другие, слепые, с множеством складчатых языков, спруты-надзиратели, истекающие целительной слюной. Эти существа за несколько десятков тысяч лет взрастут, возмужают, выпрямятся во весь рост, но так и не покинут материнской утробы, обратившись в колонны-подпорки, не дающие ей схлопнуться и рухнуть.

В горах

В горах всегда так. Дух захвачен (пленён, скован и пребывает в оцепенении, как ящерица, застигнутая врасплох каким-нибудь огромным животным), и в этот момент от тела как будто бы отделяется воображаемый двойник, чьи движения разболтаны и опрометчивы, точно в опьянении, который, неловко побалансировав на уступе, неизбежно соскальзывает в пропасть. В том зазоре, что образуют два фантомных наблюдателя — оцепеневший и пляшущий, прикованный и падающий, — открывается нам зрелище гор.

Монастир, кладбище возле рибата

Одинаковые прямоугольные параллелепипеды, отделанные кафельной плиткой или просто выкрашенные белой краской, лежат нестройными рядами. У некоторых плитка цветная: травянисто-зелёная, голубая, или узорчатая: цветы, птицы, фрукты, как будто перед нами элементы ванной комнаты или бассейна. Со временем кирпич-сырец, из которого сделаны надгробия, крошится, разрушается, постепенно теряя строгую геометричность формы и обращаясь в желтоватый холмик, который тает, тает, пока вовсе не сойдёт на нет. Тогда человек считается окончательно умершим.

Медина, утро

Утром у входа в медину солнце разбивается о чешуи сотен серебристых и красноватых рыб, ласково стекает по студенистой массе осьминогов, выловленных крючками или при помощи амфор. Индюки со скрученными лапами сидят вдоль стены с видом военнопленных, ожидающих казни. Вывеской мясного прилавка служит отрубленная коровья голова, свесившая бледный закушенный язык, фестончатая требуха свисает по бокам, как новогодняя гирлянда, в другой лавке головка ягнёнка меланхолично почивает на скрещенных ножках с копытцами, точь-в-точь падший ангел-подросток. Отовсюду слышна речь, булькающая, клокочущая, со множеством свистящих и шипящих, голоса мужчин и женщин резкие и скрипучие, голосовые связки им выковывают в раннем детстве, так что к старости, проржавев до самого нутра, они начинают звучать, как несмазанные уключины.

Мёд

В углу тихого католического кладбища возле медины, со строгими белыми усыпальницами в солнечных пятнах и подвижных тенях, краем глаза был замечен человек, совершавший какие-то неспешные действа в коленопреклоненной позе. Сперва показалось, что он отправляет какой-то неведомый религиозный обряд. Дойдя до этого угла, я всё-таки решился навести на него фотокамеру. В эту же секунду цветущих лет негр-сторож, до этого преспокойно читавший газету, не обращая на нас ни малейшего внимания, выразил решительный протест: «No, no foto», я покорно отвёл камеру. Я успел хорошо рассмотреть коленопреклоненного человека: на голове его помещался голубой полиэтиленовый пакет, над головой вились пчёлы, а занят он был тем, что выковыривал из глубокого дупла толстокожего узловатого дерева почерневшие куски сотового мёда.

Розы Сахары

Кто мог бы подумать, что пустыня цветёт изнутри. Её безводное чрево рождает солёные розы. Серебристые, цвета жжёного сахара, они взрезают песок острыми рёбрами, вызревают в глубинах, снизывают сами себя в гирлянды или причудливые скопища. Вот венец с голову младенца, вот с голову отца, вот с голову агнца, а то глыбы с целого тельца, их нелегко бывает извлечь на поверхность. Так цветут они под слоем мелкого кварца, точно ископаемые растения. Мелкие продают по дешёвке туристам как сувениры, крупными подпирают двери или используют в качестве пресса. Кто мог бы подумать, что пустыня цветёт изнутри.

Музей современного искусства Тайеба Бел Хаджа в Сусе

Dar Am Taieb — частный музей современного искусства в Сусе. Если в современном искусстве акцент часто перемещается с самих объектов на пространство, конституирующее и порождающее объект, то в данном случае этот принцип, кажется, доведён до предела: объекты здесь буквально «вылезают» из стен, перекрытий, дверных проёмов, вырастают из земли или свисают с потолков, наподобие сталактитов и сталагмитов, стены выложены мозаикой из осколков цветной плитки, зеркал, масок, «роз Сахары», гигантские ящерицы, вырезанные из жести, зависают над головой или сползают по стенам, во внутреннем дворике выстроилась армия черепах с панцирями, сделанными из касок, повсюду произрастают гроздья верблюжьих черепов, высушенных рыб, разноцветных стеклянных пузырьков, велосипедов — зритель оказывается в центре некоего природно-техногенного процесса непрерывного порождения, где часть объектов, уже вполне законченных и автономных, всё же оказывается неразрывно связанными с целым, другие же, кажется, возникают прямо на его глазах. Здесь стирается граница между «традиционным» и «модернистским», «природным» и «техническим»: фигуры в человеческий рост, обшитые чёрной кожей, с молниями на месте гениталий и железными сосками из болтов, и каменные или глиняные совы,

гнездящиеся там и сям, сад из резиновых галош и связки сушёных перцев или бараньих рогов, металлические существа с болванками вместо голов и животами, набитыми раковинами, куклами, камнями, железными кружками или оправами для очков, — явления одного порядка (глядя на некоторые из них невозможно не вспомнить «железных пророков» Вадима Сидура). Ни один миллиметр поверхности не остаётся незаполненным: друг с другом мирно соседствуют панно из часовых механизмов, костей животных, электрических счётчиков, чайников, кукол, всего, чего угодно, искусственные цветы растут бок о бок с живыми растениями в кадках, рядом со стальными петухами располагается клетка с живыми. В этой барочной избыточности взгляд зрителя теряется, каждую секунду вынужденный переменять фокус: взгляд на любой предмет неизбежно превращается в столкновение лицом к лицу, каждая вещь вдруг оказывается наделённой способностью смотреть (или вот-вот её приобретёт), мы оказываемся в тотально анимированом мире, в котором неодушевлённые предметы отсутствуют или, во всяком случае, уже чреваты способностью к восприятию; даже возникающие там и сям лики смерти (скелеты, черепа, какие-то существа явно потустороннего происхождения) предстают как ещё одна дополнительная форма жизни. Функция художника здесь сводится к деятельности, близкой к родовспоможению: художник — не тот, кто замышляет некую форму и воплощает её в каком-либо материале, а, скорее, посредник, помогающий переходу материи из неодушевлённого состояния к одушевлённому, в то время как сам процесс перехода непрерывно осуществляется как будто бы вовсе без его ведома и согласия.

Пришельцы

Об антилопе. У антилопы два рога. Живет она около реки-океана на краю земли. Когда же захочет пить, то пьет из реки и упивается, упирается в землю и роет ее рогами своими. И есть там дерево, называемое танис, сильно напоминающее виноградную лозу широкими ветвями и густыми прутьями, — и, продираясь сквозь прутья, антилопа запутывается в них, — тогда охотник ее ловит и одолевает.

Физиолог.

Вещь неизмеримо выше человека. Если вообразить себе Бога, то он похож на камень больше, чем на рыбу, на рыбу — чем на птицу, и на птицу больше, чем на говорящую обезьяну. Это очевидно.

Из письма Марианны Гейде, 26 августа 2010.

*

Однажды я задумался, что общего у авторов, которых я обычно выделяю, предпочитаю — а тем самым, значит, и объединяю (но на каком основании?). Они всем известны. О некоторых я писал (или даже не раз), других издаю (но я и не издатель), или рекомендую, куда-то ношу, или просто говорю о них (хотя бы с самим собой).

Ника Скандиака, Полина Андрукович (ах, как жаль, что первая отказалась писать предисловие ко второй; а мне так хотелось их встретить под одной обложкой; «Друг друга отражают зеркала…»), Наталия Черных… Можно легко и пространно написать, что их отличает — мартышкин труд, и так понятно: да ничего общего. Но должно же что-то быть, чтобы говорить о моем вкусе. (Это как с девичьими лицами у записного донжуана: все такие разные, а приглядишься — один тип.) Я решил тогда: дело в столбе нечеловеческого (подобно тому, как есть столб света), который проходит сквозь их поэзию/прозу (очень разного и из разных источников). Того нечеловеческого, которого так недостает современной литературе (любого рода фантастика не в счет; нечеловеческое там почти насильственно определено жанром и кодифицировано). Речь не о дегуманизированном во вкусе Ортеги-и-Гассета, то ли утверждавшего его, то ли предупреждавшего, и не античеловеческого, стилизаций и подобий которого сейчас в избытке. А не-человеческого, от которого и страх, и трепет, и странная радость — от того, что существуем не только мы.

*

В прозе Марианны Гейде очень много детей… Но что значит «много»? Представление о многом всегда относительно. Пять-шесть рассказов много ли? (число произвольное). Дело, конечно, в удельном весе этих детей-персонажей, в их роли в иерархии и структуре мира, который здесь возникает. (То есть существовал-то он всегда.) Я, во всяком случае, не знаю другой

прозы с таким наплывом «детских существ». Мне рассказывали об одном человеке, называвшем детей злыми карликами. Он акцентировал их иное видовое происхождение, отличающее от «людей». Тем самым изымал детей из процесса индивидуального и общего человеческого развития. (Карлики существуют всегда, продолжают существовать, не превращаются во взрослых.) Или известный средневековый взгляд: дети — «маленькие взрослые», недовзрослые. Отрицается, напротив, самостоятельность ребенка… Общее здесь то, что инфант интерпретируется с внеположенной ему точки зрения, и в той или иной мере с точки зрения недостатка. У Гейде ребенок — это эксцесс. (О значении этого повторяющегося слова-понятия у МГ — чуть позже.) Он также почти выключен из развития человека (по типу ребенок → взрослый), происхождение второго от первого странно (хотя их связь и не опровергается), и значит, тоже эксцесс (в одной терминологии — чудо, в другой — случайность), каприз природы. Это самостоятельное существо, развивающееся по собственным законам и внутри себя самого (а не во взрослого). То есть это всегда аксолотль (имя одного природного персонажа из одноименного рассказа МГ) — личинка, ставшая отдельным видом. Другое существо, не подлежащее человеческому суждению. Параллельное, с иным типом сознания и воображения. Не злое, не доброе, но опасное. Нежность, которую постоянно испытывает к ним автор, — того же рода, что и к грибам, растениям, рыбам, пресмыкающимся и земноводным. Нежное внимание к эксцессам. Дети — засланцы чужого небезопасного мира эксцессов в прирученный домашний человеческий мир.

*

Это книга природы: растений, и рыб (вообще обитателей моря), и зверей. (И «книга детей», конечно, тоже.) Более всего напоминает древнерусский «Физиолог» или средневековые «Бестиарии». («Этимологии» Исидора Севильского — сюда же.) МГ хорошо знает и то, и другое: и книгу природы (во всяком случае название некоторых живых существ я узнал от нее), и литературную традицию ее описаний. Как и пристало средневековой традиции описаний, реальное и фантазийное соседствуют и перемешиваются до полной неразличимости. Но что это такое — реальное? Существующее — самый простой ответ. А из книги МГ мы знаем, что существующее — это засвидетельствованное. Потому что то, что не засвидетельствовано, существовать, по всей видимости, не может. А здесь свидетелем выступает сам сочинитель: например, того, как с бегущей белки, если ловко ухватить ее за хвост, можно снять шкурку (белка выглядит при этом изумленной), или как пеликан ухаживал за кудрями Богородицы (следует весьма эротический образ Богородицы). Но есть и другая причина этой неразличимости: собственные чудеса природы, в которые невозможно поверить, если точно не знать о них. Например, три сердца спрута. Да, действительно, у «восьмирукой чернильницы» — три сердца, и это ничуть не меньшее чудо, чем беличья снятая на бегу шкурка или пеликан — ритуальный парикмахер. Как и то, что древесный гриб имитирует (запахом) съедобный, съедобный гриб притворяется ядовитым, а ядовитый — опять-таки съедобным (для ему одному известных целей). Как и 24 глаза медузы и то, что она

ими различает темное и светлое. (Я уже во все поверю.) И то, что если разрезать червя, то получится два червя, а вот, например, если разрубить крота, то почему-то нет. И почему? (думает мальчик).

Трехсердый спрут — чудовище. Как и сороконожка, из сорока ног которой первая пара — это рот (и действительно). «Шмель — лесное чудовище». Чудовище — эксцесс.

*

И значит, это «книга эксцессов». То есть чудес. Потому что эксцесс — это и есть чудо, только удивительным образом лишенное традиционной основы чудесного — Высшей воли. Ибо Бога, который не может быть засвидетельствован, естественно, не существует. (Впрочем, здесь тоже не все так просто, ибо автор, подобно Канту, по булгаковскому Воланду, отвергнув традиционные доказательства, выдвинул свое. Но мы с вами пока об этом ничего не знаем.) Итак, эксцесс — безосновное чудо — у которого и для которого нет оснований. Это не-вольное чудо, буквально. На которое нет Воли, а есть попустительство. Несколько шутовское попущение какой-то высшей инстанции, которая иногда допускает чудеса-эксцессы. Потому что ей самой, этой инстанции, так интереснее. Потому что она не существует, но может скучать, испытывать интерес, допускать чудеса-случайности-эксцессы, задавать загадки, а главное — смотреть и следить. Вот эта тема здесь одна из центральных — неизвестно чьего взгляда, подобного прицелу, и который испытывает человек в не меньшей степени, чем поедающая банан макака. (Из этой темы

следуют разные замечательные сюжеты с глазами, с которыми чего только не происходит. Но потом, потом…)

*

Прозу Марианны Гейде при желании можно было бы описать в двух категориях: эпифании и евхаристии. Разумеется, если опять-таки и из того, и из другого понятия изъять традиционное религиозное содержание. Не Бого-явление (хотя почему бы нет, если Бог — это только предельная форма эксцесса), а явление чего-то другого: завораживающего и опасного, или лучше так — завораживающе опасного. Разумеется, как и всякая эпифания, и эта не существует вне интерпретации и трактовки. Ибо Явление можно не распознать. Не узнать, что это — Явление. (Например, для этого достаточно не знать о зрении Медуз. Или о количестве сердец у спрута.) Медуза, выброшенная на берег, — засланец чужого враждебного мира, что смутно чувствуют дети, причастные тому миру, но что совсем закрыто для взрослого, сковырнувшего медузу палкой в море… (фрагмент «Море»). Или не закрыто? Почему-то же он предпочел избавиться от этого нелепого, столь непохожего на нас существа (не умеет ни говорить, ни смотреть).

*

Бабочка (в соименном фрагменте) — «многоокое окно» в «другой мир».

И иногда распахивается.

Но то же самое и с неодушевленными предметами (механизмами). Но что мы знаем о сознании вещи?

Прячущиеся чудовища (они? в них?), но иногда вдруг, «двурогие, выпрастывают они себя отовсюду…». Главное — привести себя в некоторое особенное, воспринимающее состояние.

И с человеческим телом.

Любая дисгармония (не любая, а специальная, нарушающая нормальное течение — лица, тела; ибо тела и лица также текут и происходят) есть эпифания. Рот Жанны Моро — эксцесс и засланец (в соименном фрагменте). Не гоголевский нос, норовящий сбежать, а рот, прибывший, явившийся, он — «древней остального лица». Особенная драма (агон, спор) лица, как и тела (во фрагменте «На самом деле их было две»), подобная той, что поджидает нас в лесу или комнате, при встрече с существами и вещами, но только здесь этого засланца герой (героиня) имеет в самом себе — носитель. Ср. «Тератомы пресакральной области»: «…опухоль, включающая в себя зубы, волосы, фрагменты костной и хрящевой ткани. Что-то вроде маленького оскалившегося животного, притаившегося в толще ни о чём не подозревающего организма».

*

Хайдеггер как-то обозначал свой «конец метафизики» тем, что человек, куда бы в размышлении или наблюдении (и действии) ни двигался, везде натыкается только на продукты своего собственного труда. В прозе МГ человек везде, в любом своем опасливом проникновении в чужой нечеловеческий мир (или, напротив, при проникновении этого враждебного, другого мира в наш), наталкивается только на эксцессы. Единственная

отпущенная ему форма трансценденции. За эксцессом уже ничего, возможно, нет (предел нашему зрению — и другим формам чувств). Эпифании подлежат (или мы ей подлежим всякий раз) и живые существа, и неживые, предметы (мы их смело также можем назвать существами). К этим «явлениям» надо быть готовым, а возможно, лучше (действеннее) вызывать их, например приводя самого себя в «другое», смещенное состояние сознания. Иначе ничего не получится. Это иное, измененное состояние сознания может быть сознательно (или бессознательно, но в результате поступка) вызвано или прийти само изнутри — еще одно свидетельство того, что миры не вовсе непроницаемы.

*

Странное, почти не поддающееся передаче и пересказу событие — эпифания (как в «Големе» или в «Истории про Б.»).

*

«Они рядом с нами» (Мамлеев, кажется).

Засланцы — уроды, калеки, необычные (или, иначе, — отверженные) существа: «двухголовые, трёхногие, двуснастные и вовсе бесполые, двутелые», шестипалые (из фрагмента «Во влажной земле отверженных»; ср. также фрагмент «Шесть пальцев на левой руке»).

И значит, вполне естественен пафос «стать эксцессом». Это варианты фантазии на тему идеального существа, то есть такого, которое само собой (как Жанна Моро) принадлежит двум мирам (или их больше?).

У идеального существа, разумеется, должны быть физически (через плоть) выраженные приметы: хвост (повторяющийся мотив — мечта о хвосте), крылья (или хотя бы горб, где они могут скрываться). Или иные (другие, чужие) органы чувств. Или (все это вместе) преувеличенно развитое одно — осязание, у которого преимущественное положение. (Об осязании — разговор особый.). В конце концов, и хвост (как и язык; спрут «точно весь… один ветвящийся язык) — во многом осязательный орган.

Змея, один ветвящийся хвост (перефразируем), точно обособленное, воплощенное осязание, — сквозной повторяющийся образ, почти тотем МГ.

*

С евхаристией же, то есть с усвоением чужого и неведомого, тут так.

В прозе МГ очень много поедания/ий. Можно даже утверждать, что большинство предметов и существ здесь пробуются или оцениваются на вкус. (Впрочем, как и на запах тоже. Запах также входит в кулинарный контекст и такая же непременная примета «блюда», как и его вкус. Запах также может заменять вкус, выступать вместо него, как, например, в случае с ванилью. Потому что «вкус ванили неуловим» — фрагмент «Ваниль».) Поедается (или пробуется) здесь если не все, то многое: от черепах, осьминогов и морских сирен (в последнем случае на вкус оценивается и мифологическое существо, имя которого — или наоборот — они носят; опыт, которого так не хватало Одиссею, ограничившемуся лишь слуховым восприятием: на вкус

жестковаты — эта особенная ирония Марианны Гейде, специальная тема) — и до (осторожнее!) человека. Поедание человека здесь, правда, воображаемое, происходит в собственном его сознании, и ничего о вкусе человека не говорится. Посетители экзотариума смотрят на обедающую за стеклом акулу, не в силах оторвать глаз, и воображают себя (в безопасности) ее пищей. (Человеческое тело — саркофаг; из рассказа под этим названием. Напомним себе значение слово: саркофаг — пожирающий мясо.) Поедание (или хотя бы только вкусовое свидетельство) здесь всегда приобретает ритуальный характер: причащения — то есть проникновения вовнутрь, и (как следствие) усвоения этих самых внутренних (благих) качеств. (Причащение, которое всегда присутствовало в пирах древних. И т.д.)

*

Так, у любителей осьминогов вырастают осязательные способности, они (любители осьминогов) узнают предметы на ощупь, видят в темноте и приобретают новое качество — излучать свет («Спрут»). И тут мы встречаемся еще с одной жанровой традицией: через средневековье в античность, от «этимологий» к «метаморфозам». «О происхождении вещей». Как произошли цикады? — фрагмент «Во влажной земле отверженных» (а может, они «произошли по совсем другой причине?»). А от чего лечит влажная земля отверженных? следует замечательное перечисление недугов (оттуда же; жанр «Лечебника»). Откуда произошло обморочно-выморочное отношение мужчины

к женщине? (фрагмент «Человек и растение»; все дело, разумеется, в полупроснувшемся Адаме).

*

Об осязании. Это совершенное чувство. Такое его преимущественное положение связано с очень сложной диалектикой видимого и невидимого в прозе МГ. (У Елены Шварц название книги «Видимая сторона жизни».) Видимое полно эксцессов (отчасти из них и состоит, во всяком случае на них направлено зрение сочинителя; или же так: зрение этого смотрящего так устроено, что в любом увиденном он прозревает эксцесс). Но эксцессы — это явления невидимого, и зрение должно очень сильно себя преодолеть, чтобы это воспринять, оно как бы должно отказаться от того, что ему обыкновенно пред-шествует (редукция) — знание о том, как он «должен видеть» — и увидеть как бы впервые: необыкновенный предмет. Это являющееся невидимое и желанно (притягательно), и страшно. И, стало быть, зрение и недостаточно (ущербно), и пугает. (И в этом же направлении мысли: невидимое — и то, к чему стремишься, и то, что само пробивается, наплывает, захватывает. Агрессия и наплывы, как в кино, невидимого.) Осязание — это то, что одновременно и приближает невидимое (восприятие всей кожей: змея, язык, хвост, обособившийся, свободно существующий, внутренний орган, родственный рыбам), и защищает от него. Поэтому с глазами здесь постоянно что-то происходит. Борьба с глазами (от глаз Лючии на блюде до лошадиного глаза, который высасывают осы). Преодоление зрения. Можно сказать, что глаз неповрежденных

в той или иной степени — здесь нет. Однако ж много красок, сменяющих друг друга. У каждого настроения — свой цвет; повторяющийся, почти навязчивый сюжет: смена цвета лицом или телом существа. Это похоже на калейдоскоп или мимикрию (поведение хамелеона — одного из персонажей). То есть игра и дезинформация. И тогда «не умеющие смотреть» организмы — самые совершенные воспринимающие, а чтение книги муравьем, не видящим текст, — самое совершенное чтение. Третья культура, после культур слуха (евреи), глаза (греки): культура осязания. Литература — последний (и дурной) оплот против наступления невидимого (см. «Тератомы пресакральной области» или «Муравей размером с букву "Ж"»).

*

О сослагательном наклонении. Сослагательное, или в другом случае названное «желательным», наклонение, как известно, которое нельзя, запрещено использовать в истории, — повторяющийся у МГ способ создания сюжета. Задается некоторое условие (сомнительное или прямо невозможное), затем «бы», вносящее сомнение или отрицание, исчезает, и эпизод развивается «как если бы» все это так и было: «Если бы бог или боги существовали или хотели бы говорить с человеком… Но бог или боги имеют не больше охоты беседовать с людьми, чем…» и т.д. («Муравей размером с букву "Ж"»). «Так могли бы говорить дельфины или ангелы, которым знать ничего не требуется… поэтому они просто лепечут для собственного удовольствия, чтобы прощекотать горла» («Море»). От «могли бы говорить» к «так говорят».

Это почти немецкое als ob и оказывается другим доказательством Бытия Невидимого. Сослагательное, желательное наклонение само по себе есть грамматическое выражение эпифании…

*

О кукольном театре, о мертвых и о душе. Это взаимосвязанные темы. Их перетекание друг в друга. Вспоминается кукольный театр романтиков (в описании Наума Берковского): Людвиг Тик. Кукла — любая, и та, которую можно натянуть на руку, как у МГ «маленькую ветхую девочку» («но все, на что она способна, это несколько примитивных движений»), и та, которая дергается на ниточках, как беличья ободранная тушка или повешенный (фрагмент «О мертвецах»), и та, которую приводят в движение спицы снизу, есть образ плоти, которою движет душа. Душа ищет воплощения, и всякий раз оно оказывается неудачным. Плоть смешна, оттого что ущербна, нелепа, груба, недостаточна. Природа романтической иронии МГ: весь мир — кукольный театр, и, стало быть, смешно все. В том числе и эксцессы, которые и есть выражение поиска невидимым в мире видимого. Эксцессы чудесны, и чудовищны (буквально страшны), и завораживают, и смешат (все вместе). Театр теней — вариант кукольного. Поздняя форма театра теней — кинематограф. Весь мир кино — преображение той, барочной, мысли Кальдерона и Шекспира. «И тут, и там мы встречаемся с повторением какого-нибудь особенно приглянувшегося кадра… Это могло быть в предыдущей серии, но могло, впрочем, и не быть вовсе» («Безответственная романтизация…»).

*

Случайность и необязательность и одновременно принудительность (трагичность иронии отсюда) в жизни теней и кукол/марионеток. Джеральдин Чаплин (в соименном фрагменте), стремящаяся «с той стороны» без остатка слиться с пленкой (воплотиться?); кукла, или тень, или отражение, в зеркале например, — воплощение (см. «О мертвых»), «переводная картинка» — образы трансценденции. Случайность и непредсказуемость повреждений старой пленки — киноэксцессы (во фрагменте о Жане Эсташе): «Маленькое облако из искрящихся повреждений плёнки возникает на экране и какое-то время преследует персонажей…» — образ киноэпифании (интересное именно случайностью, не-вольностью, то есть тем самым попустительством). Вариант тени — отражения (в зеркале, в любой поверхности). Живой — «заблудившееся отражение» («Записки из царства мертвых»), источник его — другой мир (скажем, мир мертвых, где собраны все, кто был, есть (в мире как бы живых) и кто еще будет — явлен видимым).

Воплощение (от-ражение) мертвых.

*

И т.д.

*

Впрочем, все то, о чем здесь говорилось, не имеет никакого значения. А только необходимая дань жанру послесловия (которое должно быть — случайное и принудительное). Замечательные истории Марианны Гейде

нуждаются в нем не больше, чем песни Шумана в музыковедческом анализе (даже если б он и был во много раз лучше, чем мною предложенный). Никакой анализ содержаний и точек зрения не передаст далее непознаваемую прелесть и самодостаточное течение этих фраз: «Розоватый пеликан, закинув голову на спину, окунает клюв в перьевой футляр своих сложенных крыльев, точно длинные тонкие щипцы провинциального цирюльника, и засыпает»; или «Смуглая, скруглённая, лопнула скула граната»; или «Осу прельщает блеск лошадиного глаза…» (эти слова хочется тянуть и петь). И так далее, и уже не оторвешься. Читая, мы все время наталкиваемся на эти фразы, далее которых наш глаз чувствует себя ослепленным, как высосанный глаз лошади.

Олег Дарк

Содержание

Александр Уланов. **Полынь и ваниль** 3

I

Мышь говорит старухе 9
Маленькая ветхая девочка бредёт через пашню 11
Две карлицы 12
Пеликан 13
Печальное вьючное животное 14
У Святой Лючии две пары глаз 15
Гранат 16
Глаз лошади 17
Маленькая макака 18
Рахиль 19
Куст бересклета 20
Враги 21
Снег 22
Черепаха 24
О смехе богов 26
Лезвие 28
Дети хоронят жужелицу 30
Сом 31
Сколько душ у сороконожки? 32
Во влажной земле отверженных 33
Голова хвоста 35
Бальзамины выжидают 38
Лягушка 39
Древесный гриб 40
Грибы имеют двойников 41
Спрут 42
Скорпион 44
Аксолотль 45
Хамелеон 47
Цикламен 48
Деревья, поваленные бурей 49
Муравей размером с букву «Ж» 50

II

Человек и растение 52
Море 55
Записки из царства мертвых 59

Московский зоопарк, Экзотариум 63
Безответственная романтизация изменённых состояний 66
Тератомы пресакральной области 69
Сирены в Берлинском зоопарке в 1986 году 72
Женщина из Музея Гигиены 75
Странные создания Свифта 78
Город 80
Электричество 83
Вкус ванили 86
Органы 89
О мертвецах 91
Бабочка 93

III

В одном городке в окрестностях Тулузы 95
Шесть пальцев на левой руке 96
Форточка 97
N. крал лица 98
Конфиденциальный разговор 100
Воскресение 101
Заблуждение 102
Человек, который выиграл в тетрис 103
Он был восхищен духами 104
Они испортились 105
Сюжеты 107
Терракотовая армия 109
Маленькие пылевые смерчи 110
В шкатулке что-то гремело 111
Джеральдин Чаплин 112
Рот Жанны Моро 113
Жан Эсташ в кинотеатре «Художественный» 115
Останцы-свидетели 116
Спокойствие катакомб 117
Прогулка 118
Инцидент 119
Страх метрополитена 120
Предположение 121
Ноги колосса 122
Ночные бабочки 123
Витраж, сделанный из разбитого зеркала 124
Псевдогермафродиты 125
Никифоров и ангелы 126
Бракованные русалки 127

Старые коммунальные квартиры 128
Разнообразные проявления враждебности 129
Истории тотального невезения 130
Гензель и Гретль 133
Седьмой 134
Солопов и жестянка шпрот 135
Масло 136
Дверь, за которой ничего не было 137
Тиберии и змеи 138
Тиресий и змеи 139
Теофил и Гиппарх 141
Саркофаг 142
Улыбка 143
Мы назовём вещи чужими именами 145
«Загадочная русская душа» 146
Вещи, вышедшие из употребления 147
Пророк 148
Вязкость 149
Ветер 150
Девочка, страдавшая глазной болезнью 151
Дом с привидениями 152
Ветхость 153
Обретение Мессии 156
Карпы 160
Тетрадка 161
В темноте 163
Инсектицид с лимонной отдушкой 164
Дождь снаружи 165
Цветная карамель 166
Белка 167

IV

Улица Свободы 168
Возвращение 174
Учитель английского оказался в непривычной обстановке 177
Зависть 179
Числа 182
Визит 187
Поцелуй 189
Крот 191
На самом деле их было две 193
В присутствие собаки 197
Голем 200

След серых камней 204
Ничтожество 205
Одиннадцатый за день 208
Наказание 212
Ребёнок из города Т. 217

V

Несколько вещей оттуда 219
Расследование 221
Случай 222
Вкус к приключениям 224
Летучие собаки 226
История про Б. 231
Стакан 233
Гроб на колёсиках 235
«Главное, не поддаваться панике» 238
Корм для домашних собак делают из бездомных собак 239
Некоторые личные вещи Клауса Кински 240
Фата-Моргана 241
Кошки 242
Копия Лизы Аронофски 245
Аори 247
Очень плохо, хуже некуда 255

VI

Ландшафт и камера 277
T'ga za jug 279
Карта Кипра 282
Красная земля 284
Ровинь 285
Фунтана 288
И здесь жили люди 289
Далматаш — пещера мокрых камней 291
В горах 292
Монастир, кладбище возле рибата 293
Медина, утро 294
Мёд 295
Розы Сахары 296
Музей современного искусства Тайеба Бел Хаджа в Сусе 297

Олег Дарк. **Пришельцы** 299

Литературно-художественное издание

Гейде Марианна Марковна

БАЛЬЗАМИНЫ ВЫЖИДАЮТ

Серия «Окна Русского Гулливера»

Руководитель проекта *Вадим Месяц*
Главный редактор серии *Олег Дарк*
Оформление обложки *Катерина Довжук*
Фотография на обложке *Павел Кузнецов*
Вёрстка *Эрик Брегис*

«Русский Гулливер»
+7 495 159 00 59
E-mail: russian_gulliver@mail.ru
www.gulliverus.ru

Подписано в печать 20.09.2010. Формат 84x108 $^{1}/_{32}$
Гарнитура «Arno Pro». Печать офсетная. Бумага офсетная.
Печ. л. 9,94. Тираж 300 экз. Заказ №